

# Саранча

Автор: Буданцев Сергей Федорович

Сергей Буданцев

Саранча

Роман

В. В. Буданцевой

Глава первая

I

Михаил Крейслер вместе с женой и дочерью вернулся в Россию после пятилетнего прозябания в Персии -- летом тысяча девятьсот двадцать первого года. Грузовой пароход, только что получивший имя одного из двадцати шести бакинских комиссаров, взял в Энзели рис и кишмиш, зашел в Астару за рыбой и икрой, в Ленкорань за пшеницей и кукурузой; погрузка производилась медленно, неряшливо, и "Осепян" поздней ночью вошел в гавань, опоздав на сутки с лишком, спасаясь к тому же от засвежевшего ветра. Михаил Михайлович стоял среди узлов и пакетов на носу и едва не заплакал: огромный город угадывался по россыпи электрических огней, фонари пристаней ровной гирляндой наметили очертания порта и были зажжены, казалось, с безудержной щедростью и тщеславием. Сзади рушился ветер. Грохот замыкал черную бездну моря и неба. Там словно заново начинали мироздание. Успело несколько раз качнуть по борту, но уже заиграла мелкая дегтярная рябь гавани, и Крейслер сказал:

-- В большие забияки я не лезу. Но за себя постоим, Таня, и если здесь начинают новую жизнь...

Не окончил, его заглушил мощный голос сирены -- музыкальный, сотрясший весь пароход. Эти свет и звуки, которыми перекликалась цивилизация, представились нашим провинциалам необыкновенно расточительны.

-- И воздух другой. Смотри, как потянуло асфальтом, нефтью, -- заметила Татьяна Александровна, наклоняясь к спавшей на хурджимах дочери поправить на ней платочек. -- Как это у нас хватило терпения прожить столько в захолустье, совсем одичали.

Столб света, казалось, с шумом упал ей на лицо. Прожектор военного судна нащупал их. Они вздрогнули от этой бдительности. Михаил Михайлович сдернул пробковый шлем, помахал им. Высокий, широкоплечий, с красным от загара, теперь в неестественном освещении коричневым лицом, он словно смутил своей радостью ослепительный круг близкого прожектора, заставил погаснуть.

К ним подошел с портпледом в руках веселый спутник: приятель еще по Земсоюзу экспедиционного корпуса генерала Баратова Арташес Григорьянц -- маленький в мелких завитках волос брюнет, похожий на престарелого пуделя. Он вынырнул из полутьмы палубы так же неожиданно, как неделю тому назад окликнул Крейслера в аптекарском магазине в Реште. Молодая женщина посмотрела на него со смутной завистью -- у него был удобный, необременительный, элегантный багаж; ей подумалось, что только такие оборотистые, хитрые люди ловко устраиваются на новых местах, а им, с их узлами, придется трудно.

-- Волнуетесь? -- спросил Григорьянц, как бы угадывая ее мысли. -- Только не ругайте меня, вашего проводника...

-- Боюсь вашей бестолковщины, -- вмешался Крейслер. -- И голодать не сладко, если не удастся устроиться. А у меня больная жена, беременные дети, -- неуклюже сострил он. -- Кому я нужен, недоучившийся агроном, бывший смотритель участка на Энзели-Тегеранской шоссейной дороге?

-- Ничего, помогу. Тряхнем связями.

Григорьянц покровительствовал с удовольствием. Когда-то в Земсоюзе Крейслер неизменно занимал лучшие должности, а при Керенском был даже прямым начальником Григорьянца. Немудрено, что появились нотки бахвальства в голосе Арташеса. Товаровед-текстильщик, он служил всю гражданскую войну в отделе здравоохранения и теперь ездил в Решт закупать хинин. И хоть, по его словам, он совершил удачную сделку, вся эта неразбериха пугала Михаила Михайловича. Мариночка проснулась от разговоров, от гудков, от беспорядочных поворотов парохода, заплакала, рассеяла размышления и втокнула в суету несвоевременного прибытия.

Пристань грузовая, маленькая, полутемная; только издали представлялось освещение обильным, -- к сходям добрались с трудом из-за трюмных пассажиров, персов, ожесточённо ринувшихся, галдевших и надыхавших перегаром чеснока. Кто-то требовал билеты и пропуска, потом погнали всех на таможенный досмотр в каменный сарай (Григорьянц махнул ручкой и был таков). Сонные дежурные чиновники рыли багаж целую ночь. К утру, смертельно усталые, путешественники очутились на выщербленных мостовых города, спавшего в сером тумане неулегшейся пыли. Сизое море неодобрительно косилось из-за облупленных построек, пахнувших испражнениями и смолеными канатами, на содранные вывески, грязные фасады, кучи мусора, не убравшиеся месяцами, на развалины, окруженные остатками заборов, на груды щебня и кирпича, словно тут начинали строиться, да что-то помешало, и покинули в беспорядке.

-- Какой был приличный, оживленный город, -- сказал Михаил Михайлович. -- А теперь... и ни одного фаэтона. Куда же мы денемся с барахлом?

Отпущенные из таможни персы расходились по трущобам, о которых их оповестили земляки. Крейслер нанял двоих нести вещи и двинулся искать гостиницу, адрес которой сообщил Григорьянц. Но это оказался не то дом советов, не то общежитие профсоюзов, приезжающих туда не пускали. Разбуженный швейцар долго ругался по-тюркски и по-русски; амбалы требовали прибавки к уговоренным четырем кранам; Мариночка кашляла, потела, пищала; жена побледнела, посерела. Радостное волнение, охватившее Крейслера вечером, переродилось и влилось в нервы зудом раздражения. От желания лечь в постель завыл бы, как воеет бездомный пес. Подымались в богатые, когда-то торговые кварталы города. И здесь особенно отвратительно в свете утра поражало запустенье. Сквозь полусон, утомление Крейслер со вниманием наблюдал город революции, не похожий ни на то, каким он являлся воображению, ни на то, каким его описывали. В особенности его изумляло невероятное количество расклеенной по стенам, по заборам бумаги. Афиши, анонсы, приказы, распоряжения, объявления, плакаты, даже газеты и иллюстрированные приложения скрывали заборы, стены, целые фасады; их площадь измерялась десятинами-, они сопровождалась угрозами тому, кто попробует сорвать или заклеить их. Предутренный ветер мел, как хлопья, клочки бумажек с грозными словами новых установлений и законов. Удивляло и безлюдье улиц, -- в старое время такой город не затихал более, чем на два-три часа в сутки, да и то не так мертвенно. Огромные крысы бегали в окнах "продуктовых распределителей".

-- Смотри, Миша, смотри! -- в ужасе кривясь, вскрикивала жена почти у каждой витрины.

На подоконниках валялись пузырьки из-под уксусной эссенции, обрывки пакетов, осколки стекла. Неизвестно чего искали там крысы, -- они, вероятно, нарочно красовались перед людьми, жирные, с отвислыми животами, острыми злыми мордочками.

-- Где же мы будем жить? -- спрашивала она, чуть не плача.

## II

Немногие русские, с которыми Михаил Михайлович поддерживал знакомство, всячески отговаривали его от этой поездки. Если бы они знали, что он двинулся, имея в кармане пятьдесят туманов, то есть девяносто рублей золотом! Его ругали за глаза большевиком, впрочем, без всякого ожесточения, скорее, завидуя: каждый мечтал о том же, непрестанно колеблясь.

Крейслер не мог без дрожи отвращения видеть глухие ущелья Лаушана, где он жил, фиолетовые обрывы, по которым зигзагами, -- "генеральским погоном", называли шоферы, -- ломалось каменистое шоссе. Сухой, постоянный в этих горах ветер сдирал кожу с лица. Крейслер запоем пил араку -- изюмную водку -- в компании с дорожными техниками и путешественниками, приехавшими на растрепанных "фордах" и я

допотопных каретах. Мариночка с рождения хворала малярией, малярия трясла и жену его; лечились своими средствами. Ему пришлось быть даже акушеркой: он сам принимал свою дочь. Роды наступили неожиданно, в Казвин везти жену было поздно, Михаил Михайлович побежал в селение за повивальной бабкой. Таня страшно мучилась. Пришедшая старуха покачала головой и села верхом на родильницу, помогая схваткам. Крейслер ее немедленно выгнал и принял ребенка. После этого прошло три года, и -- как вчера! Времени, не отмеченного событиями, никто не замечал. Не случалось никаких событий, без прошлого не предвиделось будущего, не тревожили надежды, все разнообразие жизни свелось к смене времен года, обвалам, требовавшим ремонта дороги, к капризам погоды, ураганам. И вот это мельтешение дней прекратилось.

Они, как в бреду пережив путешествие, упали в тесный номер с одной кроватью, голым овальным столиком, на котором коробилась фанера, с драными обоями и начисто выбитыми стеклами окна, выходящего на заваленный циклопическими скирдами нечистот двор. Грохочущее существование города сплошь состояло из происшествий, несчастных случаев, демонстраций, парадов, очередей. Отдыхали только за газетами.

Супруги почти перестали видеть друг друга, засуетившись в новой, трудной, искавшей быта жизни. Муж бегал с записками Григорьянца и еще одного приятеля -- инженера нефтеперегонного завода -- по разным учреждениям, многообразные люди во френчах и гимнастерках читали записки, пожимали плечами, сообщали, что приступают к сокращению штатов.

-- Трудно ухватиться, -- говорил Крейслер. -- Прямо целые подпуска закинул, -- не клюет. И я заметил, как в разговоре появляется слово "продналог", -- сматывай удочки. Так напугало всех это слово, никто ничего не понимает. И вот я ношусь с ясно осознанной целью устроиться, получить место, работать до упаду и не могу протолкнуться сквозь эту мглу.

Жена ходила по делам регистрации, заявлений, прописок, карточек. Они встречались дома поздним вечером, валились спать. Деньги расходовались с необыкновенной быстротой. На исходе второй недели Крейслер сказал:

-- Дело дрянь, Танюша. В пятнадцати канцеляриях был... В крайнем случае, пойду грузчиком или на промысла. Не голодать же. Я б убил себя, если бы вы с Маринкой стали голодать.

-- Идти в грузчики и на промысла -- это глупости, -- твердо отрезала она, всегда поддерживая мужа, если он начинал колебаться. -- Ты слишком разбрасываешься в поисках. Выбери что-нибудь одно. Долби в это место...

На другой день он встал рано с таким лицом, как будто не спал вовсе.

-- Как, однако, расхлябала нас война... Забыли, что есть прямые специалисты, то, чему мы учились. Странно сказать, а мне еще не пришло в голову зайти в местное энтомологическое учреждение какое-нибудь. Есть же такие... Сеют хлеб, возятся с виноградниками, борются с вредителями. Ходил же я за капустной мухой, ездил на борьбу с мароккской кобылкой и не забыл все это, надеюсь, за пять лет. Если и забыл, то не больше, чем другие. Коли надо, можно и опять взяться за книги.

Повеселел и быстро убрался.

Вечером влетел красный, в поту, оживленный.

-- Не было ни гроша да вдруг алтын! -- Он по дороге придумал начало радостного сообщения. -- Сразу два назначения: заведующим хлопкоочистительным заводом и уполномоченным по борьбе с саранчой. Людей нет, за меня прямо схватились. Жалованье по обеим должностям, как здесь принято, тумана четыре в месяц, но пайки, отопление, освещение.

-- Четыре тумана -- это семь рублей. Как же мы будем существовать, одеваться? Да и куда ехать?

От последнего вопроса он померк, стал долго объяснять, что здесь больше не платят, выдают все натурой, она прервала его:

-- Опять в захоlustье?

-- На границу с Персией, в Степь...

-- Нет, я не поеду. Откажись. Поищем еще что-нибудь. Я ведь сестра милосердия, пойду хоть в сыпнотифозные бараки...

-- Сыпнотифозные бараки с твоим сердцем и малярией -- самоубийство. У нас осталось всего двенадцать туманов неизменными. Выбирать нечего. Нам блажить нельзя, у нас Маринка.

Он показал во двор, где одиноко, отбившись от других детей, слишком шумных и здоровых, бродила их девочка, ковыряя хворостинкой насыпи мусора. Таня могла бы возразить, что не стоило менять привычную персидскую глушь, где платили к тому же сносное содержание, на совершенно неизвестную пустыню, работать за нищенское жалованье с огромной ответственностью, зная о новых законах только то, что они неимоверно строги и чрезвычайно запутаны. Но она только кивнула головой. Михаил Михайлович сообщил, что собираться надо с завтрашнего дня и ехать туда можно и на пароходе, и по железной дороге, а потом по Степи верст двадцать на лошадях. Железная дорога ее утешила.

Немедленно по приезде двадцать первого июля Крейслер принял хлопкоочистительный завод No 5 2 от временного заведующего Онуфрия Ипатыча Веремеенко.

### III

Саранча налетела с юга, со стороны Персии. Тот август был самым страшным месяцем страшного для Степи года. Казалось, Степь разорена была вконец. Ее разорили гражданская война, засухи, набеги шахсеванов. Пустынные, неберегаемые русла каналов и арыков разливали не вовремя драгоценную воду. Шайки кочевников ночами, в черных, как куски ночи, лохмотьях, начиненные голодной жадностью и бесстрашием, не брякая, не светясь оружием, на крадущихся, как кошки, конях, пробирались через Талшинские ущелья, угоняли наших лошадей и скот, резали молокан и хохлов и тростниками реки Карасуни скрывались бесследно. Край горел в бесплодном зное. Поля риса, кукурузы и гордости поселенцев -- хлопка -- зарастали бурьянами или их настигала губительная соль. Участок за участком дотла выедали ослепительные соляные блестки, как струпья выступавшие на теле почвы. Труд, врытый в эти земли, погибал навеки: так мстила вода, сочившаяся без присмотра, насыщаясь подземной солью. Громадные пустынные дни, развеваемые горячими ветрами, вставали и никли над Степью, разрушая останки человеческой жизни. Дикие травы и вечные пески обступали уцелевшие поселки. Солнце прокатывалось над Степью, чтобы осветить несколько оазисов, давно потерявших связь друг с другом, забывших о том, что существует государство, что они на границе двух стран. Талшинский хребет шел с востока на юго-запад, Карасунь текла на юго-восток в глухое озеро Бей, в Персии. Про него контрабандисты рассказывали, что это страшное место; там столбы насекомых и полчища змей, ящерицы, как крокодилы, леопарды и барсы. Там тростники четырех саженей вышины, и туда, разбиваясь на многие рукава в сыпучих песках, стремилась Карасунь. Горы и реки служили остовом границ, но землю в те годы не делили даже между государствами.

Когда же налетавшей мгновенно полой темнотой захлестывало Степь, когда ночь, набившись во все щели мироздания, застывала над Степью, -- тогда можно было с двухверстных Талшинских вершин, оглянув округу, увидеть в неизмеримой толще тьмы один, как звезда, мерцающий огонек. Он сторожит ночь всего пограничного Карасунского района, до него верст тридцать напрямик, до него -- непроходимые топи, ползучие пески, до него -- густые, как ворс бобрника, тростники, до него добираться, -- слушай вой шакалов и гиен, бойся мягкого скольжения змей, легчайших подпрыгиваний тигра.

Огонь висит над окрестностью. Около него пытит динамо. Огонь возвышается на четырехногой башне. "Улла, улла!" -- кричит он, как марсианин, над развалинами жизни. Вокруг вьется звериный плач. Так, обложенная воем и предосенней ночью, стоит водонапорная башня хлопкоочистительного завода No 2, увенчанная трехсотсвечевой лампочкой.

Вокруг динамо живут люди.

Саранча летела огромными, в полнеба, стаями. Ее полет приподнял не одну голову, не один встревоженный взгляд провожал ее страшное плаванье. Она черной тенью осенила землю, проволочилась по умам поселенцев ужасом и молитвами. Никто не знал, где она сядет, где будет плодиться на будущий год. Молокане из села Черноречья (Карасунь значит -- Черная речка) читали, словно свод заклинаний, Евангелие, хохлы из Новой Диканьки подымали иконы, мусульмане гортанно призывали аллаха.

Саранча спускалась в карасунские тростники, где и принималась откладывать кубышки -- приплод будущего лета.

Тростники сопровождали все среднее и нижнее течение Карасуни, росли по болотистым берегам, по грядам, лиманам, ерикам, подступая по оросительной системе к полям завода и к участкам чернореченских крестьян. И тогда над зарослями с диким плесканьем, воем, визгом, карканьем появлялись птицы. Тучи птиц, миллионы птиц, версты птиц вились над тростниками: стрижи, галки, вороны, грачи. Грачиные сытые погадки, отрывки из твердых частиц насекомых украсили травы и почву. По ночам саранчу били уже забытые здесь фазаны. Кабанов развелось видимо-невидимо. Жители смотрели на это оживление с тоскливой надеждой. Ни птиц, даже самых ценных, ни кабанов никто не трогал.

Спаренная саранча стрекотала, самец сутками трепетал на самке, самки, загнув под себя брюшко, рыли в земле изогнутые норки, наполняли их яйцами и закупоривали клейкой, пенисто засыхавшей жидкостью. Рыча и чавкая, пахали лакомую почву дикие свиньи.

Так продолжалось несколько недель. Стремительная эта жизнь схлынула со зловещей быстротой, как бы открыв плотину осенних и зимних дождей.

#### IV

-- Пиши им, бомбардируй их письмами, посылай нарочных, делай все возможное. Они погубят все твои труды своей тупой медленностью. Сидят в канцеляриях, в глазах блудливая поволока от лени, знать не хотят, что где-то есть люди в вымирающем крае и что люди эти от них зависят. Ведь мы последние с нашим заводом, с нашим хлопком уйдем -- пустыня сомкнется над этим местом.

Она говорила это и покусывала бледные губы.

-- Ты же отлично знаешь, Таня, что я аккуратно отправляю сводки, подсчитываю бесчисленные десятины, по которым саранча отложила кубышки. Гоняю семерых разведчиков, мы сами с Онуфрием Ипатычем не слезаем с лошадей. За день так натрешь себе... И замечательно: все, как ты, дают советы или предлагают положиться на волю божию. Вчера делал доклад у чернореченских мужиков, -- один выступил и заявил: "Агрономы всегда нашего брата пугают, а саранча опоздала, матушка, хлеба скошены. А на копне да на жнивье пусть себе гадит". Я снова вдалбливаю, что на следующий год она отродится на этих же местах...

Михаил Михайлович замолчал и махнул рукой. Он не очень распространялся перед женой о тщете усилий и неудачах, которые ему приносил каждый день. Черная дрожь малярии посещала ее через ночь, содрала остатки румянца со щек, выпила кровь, поселила хрипы в легких, свист в голосе и, главное, наделила ее такой возбудимостью, что одно время Михаил Михайлович опасался даже серьезного нервного заболевания. Мариночка на другой день по приезде на завод заболела скарлатиной. Мать, несмотря на слабость и свою болезнь, сутками не отходила от ее постельки, выходила дочь, но у девочки началось осложнение на ушко, она билась, завидев спринцовки для промыванья, кричала, что ей больно, у матери опускались руки. Немудрено, что в таком состоянии Таня проплакала всю ночь, затеряв в бане серьги с дешевыми изумрудами, которые она считала талисманом их брака. Серьги, правда, нашлись, но Михаил Михайлович насторожился. Он в особенности щадил часы вечернего чая, которые, хотя бы своим призрачным спокойствием, напоминали ему, что жизнь, может быть, очень оскудела, но не прервалась. Бывало, за чаем в отчем доме любили вспоминать старину. Отец, мрачный мужчина, с таким здоровьем, каким природа награждает только немцев-колонистов, размякал предельно и, переходя на немецкий язык, рассказывал о героических, по его мнению, временах, когда он со своим отцом завоевывал непокорную русскую землю, в которую они только что переселились. Чаще всего отец повествовал о какой-то поездке за триста верст верхом, -- он гнал лошадь день и ночь, в кармане у него было две тысячи рублей, предназначенных за купленный скот. В конце пятидесятых годов новороссийские края уже не кишели разбойниками, но юный Миша не без волнения мечтал о привлекательных опасностях, которые расставляла тогда жизнь. В сытом, полусонном укладе так хотелось движения. А теперь он упорнее всего боролся с русской привычкой жены разговаривать за едой и в часы отдыха о беспокойных и тягостных предметах.

Онуфрий Ипатыч -- человек среднего роста, от широкоплечести казавшийся горбатым -- резко отодвинул недопитый стакан, достал плоский флакон, выплеснул остатки чая на блюдце и, кривясь в несмелой,

неожиданной на изветренных губах усмешке, сипловато и тихо спросил:

-- Разрешите, Татьяна Александровна?

То, что он собирался делать, делал, видимо, часто: в его движениях замечалась привычность. Не дожидаясь ответа, он налил полстакана желтоватой жидкости, весь содрогаюсь, выпил. Татьяна Александровна посмотрела на него с жалостливой брезгливостью и сказала нарочито громко, чтобы преодолеть в самой окраске голоса даже легкую снисходительность или сочувствие:

-- Какая гадость! Как вам не стыдно постоянно пить!

Он жмурился, корчился и морщился, как будто в горло еще лилась удушающая мерзостной изюмной вонью арака. Одутлое, в обвислых складках лицо, мешки под глазами -- покраснели, налились, припухли. Открыл глаза, они задернулись слезой. Жилы на висках надулись, по губам пробежала такая судорога, словно на них кипел смертельный яд. "Пасха проклятая!" -- пробормотал он, думая о запахе, и через несколько мгновений, ободренный, освеженный мощным, ласковым жженьем, растекавшимся по всему нутру, произнес покорно:

-- Ну, голову снимите -- не могу... Даже при вас не могу удержаться. Уроженец местный, "клиника", -- как зовет меня Бухбиндер, -- и "алкоглот". В здешних местах жить да не пить!

Ему не отозвались. В комнате дрожал за пульсированием слабосильной динамо-машины желтый из-под абажура свет, словно пыль, слетавшая с крыльев огромной бабочки. Чудовищно красный самовар, по семейному прозвищу "унтер", во все бока избитый скитаньями, уже заглох. Он был странен в уютной этой комнате своей древней громоздкостью, -- полутруп прошлого. Уют был кажущийся. Уют был кажущийся потому, что заброшенность опустилась на все вещи, оставшиеся здесь от старых владельцев. Желтые абажуры над лампами, раздражающе мешавшими свет с голубым тоном штукатурки, чехлы на крепких, жестких, как чугун, креслицах, выцветшие плюшевые скатерти, дешевые ковры и паласы, захлестывавшие султанабадскими, хамаданскими, казвинскими узорами каждый шаг, -- все это ветшало под пылью, непростительной для хозяйки и опасной для вещей, там, где две трети года тянется лето. Ладoshi хлопали по хлопьям неуловимой многочисленной моли, ускользавшей от шлепков по законам какой-то молниеносной геометрии.

-- Вот Миша не пьет же так! А у него больше оснований, чем у вас: болезнь Марины, моя, у нас ни кола ни двора, положение какое-то полуполегалное. Всякий смотрит так, -- вы, мол, всю гражданскую войну наслаждались покоем, а теперь на готовое явились! Я не хочу распространяться, вы сами отлично знаете, -- мы считаем вас другом.

Онуфрий Ипатыч даже привскочил.

-- И не зря, не зря! Я вас полюбил как родных. Да что там, -- больше, потому что родных я не больно люблю. О болезни Мариночки убиваюсь, как вы сами. Веремиенко плакал. Я, Веремиенко, плакал. Веремиенко рыдал.

Он заметно хмелел. Хотел ударить себя в грудь и поймал себя на этом движении. Верно, он полюбил девочку с непонятной горячностью с первого взгляда, может быть, потому, что опускал на нее глаза, боясь поднять их на мать. Он ездил в родное село Новую Диканьку, привозил оттуда фельдшера, прописывавшего длиннейшие рецепты, половину которых чернореченский аптекарь Бухбиндер возвращал невыполненными. Таня ругала фельдшера дураком и неучем, вспоминала какие-то лекции, которые она слушала на курсах сестер милосердия в Москве, все выходило не по ее, но фельдшер все же покуда помогал ребенку бороться с болезнью.

-- Бухбиндер, этот бесстыжий арап, попробовал было смеяться надо мной: "Чувствительный, говорит, ты, кахетинским, говорит, плачешь! Весь проспиртовался..." Я ему такого пообещал, что он сразу язык прикусил.

В окно сильно постучали. Все вздрогнули.

-- А, это пан Вильский.

Веремиенко открыл окно. В комнату, в поле света вместе с потоками невидимого ненастья просунулось необычайно худое, мокрое, с обтекающей бородой лицо, с острым носом, жидкими щеками, -- душа дождя. И претенциозный голос произнес важно с польским акцентом:

-- Здравствуйте, господа. А вы все предаетесь мечтаньям и мелянколиии.

-- Пан-то, пан, -- прямо насморк!

Едва выдавив из себя это странное, оскорбительное сравнение, Веремиенко захохотал. Визгливый и картавый смех, как корчи бесноватого, бросился на него. Но эти бесшабашные до боли взвизги наблюдательному человеку могли показаться слишком самозабвенными и потому чреватými, ну хотя бы переходом к плачу. На кухне, слышно было, загремела, заволновалась одноглазая Степанида. Супруги опасно переглянулись. Вильский -- старший механик завода -- служил на нем уже двенадцать лет и, прикованный к нему семьей, сохранил заводское имущество. Правда, он давно стал бездельником, всю работу свалил на помощника, денно и нощно торчавшего у дизеля электромашины. Про него Вильский серьезно рассказывал, что это изобретатель, настоящий Эдиссон, но пропадает от грустного характера и нелюдимости. Действительно, электричество работало прекрасно. Крейслер видел этого мага не чаще раза в неделю, он совал маленькую в шрамах и масляной грязи руку и беззвучно скрывался, словно проваливался на месте. Рабочие давно разбежались с завода. В скаречно построенных владельцем домишках и бараках просторно расселились три тюркских и одна русская семья, которым некуда было деться, они и охраняли госимущество, сеяли пшеницу, разводили кур и коз, спорили с молоканами из-за орошения и покорствовались перед паном Вильским. И такого человека оскорблял насмешками Онуфрий Ипатыч.

-- Ну, к чему это все! -- обиженно промямлил пан Вильский.

Веремиенко мгновенно, как будто в нем что-то оборвалось, прервал смех.

-- Знаю, ты мнителен и горд, пан, хотя и без истинного самолюбия.

"Его бы надо просить войти, да сил нет", -- прочитал Веремеиенко на бледном лице хозяйки. Он исполнился готовностью услужить.

-- Пойдем домой, пан, десятый час, спать пора. Хозяюшка заморилась.

В брезентовом плаще с поднятым капюшоном он показался Тане схожим с их фамильной фисгармонией в чехле, мучительно, смешно, и до слез напомнил московский дом. В самом деле, в Веремеиенко, в душевном его строе жила какая-то грубоватая музыкальность. Его движения связывала неразрешимая виноватость. От этого даже внешняя невзрачность его смягчалась.

Они плюхнулись в ночь, как в омут. Дождь лил невероятно обильно, теплыми, зловеще ровными струями. В этой тьме нужно было дышать жабрами.

-- Пан, ты любишь семью и счастлив в семейной жизни. Как подступиться к бабе, с чем? С услугой? С помощью? Вырвать благодарность?

-- Хе, благодарность! Нужно бить на тело. А там пойдут дети и всякая ремузия.

Его слова хлюпали и тонули в шуме хлябей. Он не любил отвлеченных вопросов.

Дождь лишал их не только направления, но и чувства равновесия. Вильский поддерживал приятеля под локоток и настойчиво вопрошал:

-- А вы слышали, что болтают? Чи не балакали вам о том, что Михаил Михайлович укрывается от большевиков? Что он бывший белый офицер и должен быть на особом учете? Ему будто бы стоило больших трудов устроиться в нашу глушь. И у него есть связи?

-- Чепуху ты городишь, пан, и все это тебе наплел Бухбиндер.

-- А не Бухбиндер пронюхает, то кто? Он мне нынче говорит: "Там Онуфрий около Крейслерихи вьется. И сам того не понимает, что она готова для своего Мишеньки не только дочь, но и себя уморить. Куда уж алкоголику нашему!"

Веремиенко остановился, вырвал локоть, отступил на шаг и проклинал пьяным злобным шепотом откуда-то из мокрой бездны:

-- А, сволочи, чтобы вы сдохли! Уже сплетничаете?! Ты передай, чтобы он молчал в тряпочку. Пусть себе воняет около касторки, не то я разобью его жирную морду. И тебе советую не впутываться.

Матеря лужи, любовь, белых офицеров, он заковылял к своему флигелю.

Вошел, щелкнул выключателем. Желтый свет метнулся на пятнистые стены, хозяин прикрыл лампочку газетой. Жил он скудно, голо. Деревянный стол, продранное плюшевое кресло, табурет у железной кровати с санным матрацем и шинельного сукна одеялом -- вот и вся обстановка. Была еще вторая комната, для приезжих, в ней стояла только складная койка. В комнатах удушливо, как в театральной курилке, пахло застарелым табачным дымом, табачным пеплом.

Онуфрий Ипатыч посидел несколько минут не раздеваясь, на пол натекла лужа, закурил, снова вышел на дождь, в тьму, ворча: "Дьявол с ним, извинюсь", -- спотыкался о загадочные препятствия, пробирался ощупью, словно двор был заставлен капканами, стараясь держать прямиком на маячившие три окошка. Попыхивание дизеля приближалось. Хмель, еще в комнате обнимавший в теплых объятиях, теперь, на дожде, отпустил. Онуфрий Ипатыч ощутил тоску, похожую на ломоту в плечах. Добрался наконец к окну, заглянул в светлое и теплое нутро жилища пана. Вчуже стало душно от четырех кроваток по стенам; в двух спало по двое детей: потомства пана Вильского насчитывалось шесть душ. Их секли ежедневно, исключая воскресенья. Счастливый отец, сидя спиной к окну, деятельно жевал -- шевелились уши -- и, размахивая руками, внимал жене, коротконогой толстухе с грудями, выделявшимися из-под кофты, как две тыквы, первой своднице и сплетнице по округе, любительнице участвовать в чужих страстях, с наблюдательностью, в этом деле прямо-таки пугающей.

-- Пусть соткнутся, не тебе им мешать!

Онуфрий Ипатыч услышал это, воровски открыв дверь из темных сеней в прихожую. Марья Ивановна осеклась. Понял, -- речь шла о нем. Нарочито тяжело ступая, ежась в своем немыслимом плаще, он криво сунул руку хозяйке и не сажился.

-- Ты прости, пан, погорячился. Знаешь, мотня какая собачья. Тебе хорошо, наблюдай за машинами, которые не работают, а на динамке -- помощник. Вы -- механики! И вы, Марья Ивановна, не сетуйте, что долго не заходил. Опасался скарлатину занести, как по обязанности бываю в том доме.

Он попробовал улыбнуться, разглагольствовал явно зря, избегая взгляды на Марью Ивановну, так и впившуюся черными загоревшимися глазками в длинные зачесы из толстого волоса на его затылке. Она недоверчиво усмехалась. Взгляд ее ползал по нем, ее ухо, казалось, висело где-то у его плеча, -- от такой не скроешься. И она насмешливо подтвердила его опасения, запела тонко и лживо-нежно:

-- Все, может быть, и боялись. Ай скарлатины, ай чего другого. Что это помягчили вы сердцем, подобтели? Ну, дай вам бог, пусть и к вам снизойдут.

Ему стало тошно от этой проницательной сладости.

V

Персючонок Багир, подросток лет пятнадцати, обычно дремавший на кухне около Степаниды, прибежал запыхавшись, с глазами, круглыми от изумления, что в жизни случилось происшествие, которое потребовало его вмешательства, кричал еще в передней:

-- Михал! Михал! Контор пришел два армян. Заведучки просиль. Я туда ходил, он сказал: "Беги к заведучки".

В конторе Крейслер застал двух просителей. Один из них, молодой и, видимо, скучливый, одет был с претензией на дорожную элегантность, поглядывал невинно и вообще старался произвести впечатление туриста, походя больше на коммивояжера. Другой, постарше, много толще и плотнее, изумлял прежде всего такой черноволосой растительностью на лице, которой, казалось, если ее растворить, хватило бы окрасить целый пруд. Злокачественные волосы лезли из ушей, из ноздрей, из глаз, только около переносицы поблескивала чистая, смуглая кожа. Он встал и протянул волосатую, пухлую руку.

-- Товарищ Крейслер?

Михаил Михайлович кивнул головой. Брюнет ослабилась, обнажил зубы ровной чистоты. Крейслер невольно подумал: "Хороший материал пошел на этого мужика!" Посетитель вынул из портфеля бумагу.

"Областной хлопковый комитет предлагает вам выдать подателю сего, тов. Тер-Погосову, три имеющихся в

вашем распоряжении конных аппарата-опрыскивателя типа "Вермореля", предназначенных Уездному коммунальному хозяйству..."

-- Для чего это?

Тут вмешался франт:

-- Это для нас. Коммунальное хозяйство, не имея канализации, очень нуждается в пополнении ассенизационного обоза. Опыт показал, что из аппаратов "Вермореля" выходят прекрасные...

-- Бочки для обоза? -- прервал Крейслер. -- Позвольте, что же это делается? У нас саранча. Мы же с весны должны начать бороться с ней. Ведь это идиотизм отбирать оружие борьбы. Да где же Саранчовая организация? Им же голову оторвать надо!

-- То-ва-рищ! -- строго и отдельно произнес Тер-Погосов, повернув голову так, словно позировал медальеру. -- Вы немножко забываетесь, товарищ. Выполняйте распоряжение вашего начальства, а что касается борьбы, -- Саранчовая организация имеет свой план. Ввиду недостатка ядов на рынке опрыскивание невозможно. Но мы можем залиться керосином, и туда обращено все внимание. Я, как член коллегии от Хлопкома... Я говорю это официально: саранчу будем сжигать особыми аппаратами. Ставится мастерская, целый завод. Привлечена частная инициатива.

-- Почему же я, уполномоченный, узнаю обо всем этом из какой-то беседы?

Крейслер подошел к окну. Все как всегда. Ландшафт, истерзанный зимними дождями, как тронутое тлением мертвое лицо, глядел страшно и скучно. Толстая глинобитная стена окружала заводскую усадьбу; здесь строились, опасаясь нападения, дикого набега кочевников. Но в стене за время революции образовался пролом как раз под окном конторы, и теперь, когда налета можно было ждать каждый день, зачинить повреждение не хватало средств. Завод расположился на возвышенности. С холма открывался широкий вид на овальную долину, прорезанную шоссированной дорогой к станции Карасунь, через молоканское село Черноречье, красневшее крышами справа. Слева от шоссе начинались распаханые заводские поля, за ними стояли, -- из окна, -- словно мелкий перелесок, -- чащи зараженного тростника, забившего реку, полного угрозы. Крейслер обернул к посетителям лицо, налитое злобой.

-- Я подумаю. Вам придется обождать.

Тер-Погосов закашлялся. Франт поглядывал на Крейслера, поигрывая бровями с таким выражением: нам-де известно, чем вы разразитесь. Будете разоряться о преступности, бюрократизме, несвоевременности, -- мы и не таких обламывали. Мало ли что, власть на местах кончается!

Но Крейслер неожиданно двумя-тремя шагами рванулся к Тер-Погосову, тот попытался встать и остался сидеть. Крейслер помедлил над ним одно мгновение и вышел. Его лицо, огромное, рыжее, веснушчатое, еще висело в комнате. Небольшие зеленые глаза подернуло лиловым, толстый нос припух, губы искривились, на лбу выступил пот, на висках обозначились жилы, голова тряслась. Посетители избегали смотреть друг на друга. Тер-Погосов изучал собственный мандат, словно ища на бумаге только что капнувшую каплю крови. Тишина сгустилась до комариного писка, в ее пасмурной неподвижности трудно было пошевелиться. Неприязненное молчание незнакомого места предвещало засаду. Но эта неловкость непомерно затягивалась. Они постепенно смелели, начиная видеть неистребимые подробности учреждения: письменный стол, обитый клеенкой, два шкафа, за стеклами которых выстроились добротные, частновладельческие скоросшиватели, счеты, пресс-папье. И запах, запах конторы, пыльное воспоминание о написанных и истлевших бумагах, обо всех, кто здесь когда-нибудь бывал, он ободрял.

В дверь просунулась голова Багира.

-- Заведучки говориль, завтира, и еще завтира бумаги писалъ. Сердиль!

-- Ну, и черт с ним! -- храбро огрызнулся Тер-Погосов. -- Передай, что дольше, чем до послезавтра, ждать не будем. Найдем управу на твоего заведующего.

Они шли по шоссе, кривлялись, плевали, передразнивали Крейслера. Мокрая, избитая, каменистая дорога словно наматывалась на них слоями отравного пластыря, ветер невидимыми каплями противно садился на лицо, слепил, забивал дыхание. До колен забрызганные белой грязью, добрались до села, пропитанного

запахами скученной крестьянской жизни, гудевшего ревом скота, шумевшего возней по дворам. Подошли к пятнисто-зеленому дому с вывеской: "Аптека Г. Б. Бухбинде" -- "ра" проржавело. Здесь они почувствовали себя под защитой плотноживущего деревенского здравомыслия, непохожего на ожесточения, бушующие на разоренном заводе, -- тогда лишь Тер-Погосов решился выразить то, что жгло ему гортань:

-- Я посчитаюсь с этим рыжим бугаем! Хоть бы разговаривал как с людьми, чаю бы выслал. Экзарх Грузии какой!

-- Я говорил, что надо действовать через Григория Борисовича, -- заметил коммунальник.

-- Ах, что тут Григорий Борисович! Лишний неофициальный человек в таком деле. Неужели вы не видите, что советская действительность не обломала этого тевтона. Ничего, будет битый -- будет шелковый.

В тот же день к раннему по-деревенски обеду к Крейслеру заявился Веремеенко, приехав с разведки. Пока кривая Степанида гремела на кухне посудой так, как будто готовилась угощать фаворита русской царицы, Михаил Михайлович коротко рассказал об утреннем посещении. Веремеенко неопределенно похмыкивал, Михаил Михайлович раздраженно обратился к жене:

-- Ты понимаешь, у меня даже браунинг отяжелел в заднем кармане?! Ну, думаю, сейчас амба армяшке! Когда же у них будет хоть подобие порядка? Перед самой опасностью вырывать у себя же оружие! Взяли власть, называется!

-- Миша! -- предостерегающе остановила она. И вдруг спросила: -- Почему же ты все-таки отдал аппараты?

Ее раздражение показалось мужу чуть-чуть оскорбительным. Веремеенко примиряюще рассмеялся.

-- Не стрелял, -- вы хотите спросить? Эх, Татьяну Александровна, неужели вы обольщаетесь надеждами, что те люди, которые отбирают у нас аппараты, дадут яды, а без ядов на что аппараты?

Таня испуганно посмотрела на мужа и с осторожностью опытной, страдавшей женщины повела разговор в сторону:

-- Я все-таки не могу поверить, что кто-то с бухты-барахты даёт такие распоряжения. Здесь злая воля и интерес.

-- Какой там интерес! Так, неряшливость, безрассудство. Плохо платят, -- плохо работают. Никто не хочет напрячь мысли. Насмотрелся я на канцелярии... А ты думаешь, трудно убить? В этой стране жестокий дух, он действует. Я был и на войне. Конечно, не крошил людей, как Чурило Пленкович, но ведь участвовать в войне можно не только физически. Я помогал войне и, поверь мне, успел подумать об этом: в конце концов разница между организованной бойней и убийством, так сказать, личным не велика. Ее, пожалуй, нет.

Он философствовал со сложным чувством, ожидая противоречий. Их не последовало. Суп показался ему с привкусом металла.

-- Я еще посторонний в этой стране, а знаешь, иностранцу часто приходится смиряться. У меня именно такое ощущение... Мне указали множество обязанностей и ни одного права.

-- Ты так говоришь, словно я тебя подталкиваю на убийство.

-- Ты тоже ляпнешь! Вот на что это похоже... Было это со мной в молодости, парня одного, -- еврея, моего приятеля, -- нужно было вытащить за взятку из полиции. У него с правом жительства приключились какие-то непорядки. Мне поручили передать пятьдесят рублей приставу. По дороге я прекрасно придумал, что надо говорить, как себя вести. А дошло до дела -- покраснел, слова с языка не ползут, хочу деньги передать -- липнут, ну буквально бумажки не отделяются от ладоней. Пристав щетинится, я соображаю, -- надо вылетать, а то будет скандал. И парня едва не подвел под большую неприятность. Так вот и давеча: смущение, гадливость, и я скис.

Разговор становился душным. С большим блюдом, над которым возвышались его веселые, розово-смуглые щеки, вошел Багир.

-- Опять плов! Я, кажись, чихать скоро буду пловом.

Таня посмотрела на мужа утомленно, лизнула белые губы.

Веремеенко жалко улыбнулся кроличьими глазами.

-- По советскому обычаю надо все решать коллективно, -- сказал Крейслер. -- Я предлагаю назначить сегодня вечером общее собрание рабочих и служащих.

Их собралось в конторе человек десять. Крейслер рассказал, в чем дело. Страшно возмутился помощник пана Вильского, заикаясь и шепелявя, он бормотал минут десять нечто устрашающее. Рабочие, в особенности тюрки, слушали, ничего не понимая. От них усыпляюще пахло чесноком. Им не платили семь месяцев, Крейслер привез им часть задолженности, за это они его признали головой, но с истинной верой смотрели только на пана Вильского. Тот важничал, развалился на стуле, и наконец заявил, что полагает неудобным ослушаться начальства.

-- Мы есть маленькая единица. Центр требует от нас повиновения. Я разумею задачу так: покуда у нас из центра не было начальства в лице товарища Крейслера, я считал долгом хранить каждую пядь...

Он завел что-то двусмысленное и язвительное, долго перечислял какие-то свои заслуги, можно было догадаться, что он чем-то обижен, и кончил тем, что "Верморели" нужно отдать. Один из саранчовых разведчиков, Чепурнов, предлагал перервать горло тем, кто отбирает аппараты. Но большинство согласилось с паном.

-- Ты ведь назюзюкался, сукин сын, -- сказал ему Веремеенко, когда они выходили с собрания. -- И злобишься на Крейслера. Обижаешься, что тебя не назначили заведующим заводом? Должно быть, насосался у Бухбиндера...

В тот же вечер, пользуясь отсутствием мужей, к Тане зашла Марья Ивановна.

-- Вы как в карантине живете, -- сетовала она, -- и нам нельзя было познакомиться. Уж извините, я из-за детишек не заходила. Но очень интересовалась повидаться.

На взгляд Тани, в толстухе было что-то овощное: какой-то брюквенный цвет лица, волосы, гладко приглаженные, лежали луковой шелухой, она была рыхла, уши краснели от любопытства, прозрачные, как ломтики свеклы. Речь она сводила на Онуфрия Ипатыча.

-- Не наговорится он о вас, уж какая вы заботливая мать, и жена любящая... Вчера весь вечер протолковал, все вас мне в пример ставил. И глаза горят. А уж я его знаю: у него чувств немного, но сильные.

Она тараторила непрестанно, ухитрилась даже чуть не прямо задать вопрос: будет ли она изменять мужу. Таня не находила слов для отпора и невежливо прервала визит, воспользовавшись тем, что ее из спальни позвала Мариночка. "Да, тут ставят каждое лыко в строку, -- сказала она себе. -- И если Онуфрий Ипатыч действительно избрал ее своей поверенной, его не следует пускать на порог".

-- Зла, худа и холодна, -- определила ее Марья Ивановна мужу. -- Щука какая-то. И чего это наш патлатый в ней нашел? Фантазия!

## Глава вторая

I

Мариночка умерла в конце октября, по мнению седоусого фельдшера, от воспаления легких. Покашляла два дня, пожаловалась на боль в правом боку, затихла, лежала с открытыми глазами, и никто не заметил, как она их закрыла, как остановилось ее дыхание. Мать взглянула на нее и отчаянно закричала. Лик трупа испугал ее страшным сходством с лицом мужа; перед ней лежала уменьшенная алебастровая маска Михаила Михайловича. Это ударило в сердце как дурное предчувствие. Но тут же все мысли о живом вытеснила скорбь. Девочку похоронили на песчаном кладбище молокан. Мать занавесила окна в спальне и почти не выходила оттуда из серого сумрака, плача и отдыхая от рыданий, раздражаясь от каждого резкого звука, от луча, пробивавшегося из соседней освещенной комнаты сквозь дверную щель. Крейслер казнил себя поздним сожаленьем, что мало обращал внимания на дочь, болезненную и тихую, и теперь, когда вынесли гроб, он подумал, что вынули душу из их брака. После Мариночки у них не было детей. Раньше огорчение Крейслера смягчалось размышлениями о трудности воспитывать детей, да еще в такое время; теперь эти размышления казались пошлыми пустяками, и тоска не покидала его. Стали чаще мучить мысли о смерти, он

сделался мнительным, терзался из-за каждого самого легкого заболевания. Из этого состояния его, к счастью, выводили тревоги дела.

Все новые донесения шли о зараженности района саранчой из Михайловки и Термигоя, Беюк-Шора и Асад-Абада, Карамакчи и Чертанкуля, Абгерма и Каша. Крейслер понимал, что его округ непомерно огромен, -- не объехать, участковый агроном сбежал еще при мусаватистах, как вообще отсюда бежали все, кто мог мало-мальски устроиться в другом месте. Но его даже утешала самая безмерность забот. Разведчик Плесков писал:

"Полчища саранчи следовали непрерывной волной со стороны озера Бея. И когда опускались на землю отдельные стаи, то занимали площадь в несколько квадратных верст и представляли собой толщу, достигающую до колен лошади".

Неожиданно на чердаке дома Крейслер нашел два ящика книг, половина из них оказалась ценным собранием комплектов агрономических журналов, разных известий энтомологических обществ. Крейслер углубился в изучение саранчи. Его доклады превратились в маленькие исследования. Сводки по зараженности Карасунского района кубышками саранчи, составленные им на основании сообщений с мест, показывали: около сорока квадратных верст тростниковых зарослей, тысяч восемь десятин пустошей и лугов, десятин полтора земля земель возделываемых. Все это он послал в областной ОЗРА (Отдел защиты растений от вредителей), в республиканский Наркомзем, в Саранчовую организацию при Наркомвнуделе. В ответ прибыла огромная пачка циркуляров, постановлений, несколько книг по сусликам и борьбе с ними, сотни две листовок и брошюр. Печатный материал убеждал крестьян и скотоводов помогать Саранчовой организации. Поминались какие-то аэропланы, опрыскивания, отравленные приманки. В особенности почему-то напирала на самолеты, "которые играют неограниченную роль при обследовании зараженных участков и при опрыскивании огромных площадей". Эти речи были явным запросом у будущего.

Протоколы сообщали, что тов. Тер-Погосов командирован в Москву, "для вербовки тамошних научных энтомологических сил". Нескольким агентам "предлагалось обследовать рынки Ростова, Харькова, Феодосии для обнаружения запасов локустисидов как мышьяковистых соединений, так и парижской зелени". Там же утверждался проект особенного типа керосинового аппарата для сжигания саранчи с давлением в шесть -- восемь атмосфер. Для сего выдавался большой аванс частной мастерской Гуриевского. Отмечалось, что Тер-Погосов успешно вел переговоры в Москве и вернулся. Постановления, напечатанные на прекрасной бумаге, гласили, что вновь реорганизованной Саранчовой организации под председательством члена коллегии Наркомзема тов. Величко предоставляются права наркомата. Так же законодательным порядком Тер-Погосов назначался начальником снабжения Саранчовой организации.

-- Кажись, я важную шишку обидел, -- сказал Крейслер жене.

Та промолчала, отвела взгляд. Ее безразличие показалось ему злобным, он не выдержал и сказал об этом.

Глухие преддрождественские дни были замешены на черных тучах, которые скоплялись в воронке Каспийского моря, клубясь над волнами, над низменными песками берега, бывшего когда-то дном, -- дном моря была и Степь, -- тучи не выходили из пределов хребтов, у которых некогда билась отступившая теперь вода. Невысокие вершины, проступая из тумана, оказывались белыми, тронутыми снегом.

Красный домик заведующего осаждали некоторое время окрестные жители, сагитированные снова сеять хлопок.

-- Аванец бы, товарищ заведующий, задаточек! -- доносилось до Тани.

У нее опять разыгралась малярия. Она чувствовала ухудшение здоровья, как-то вчуже, умом, следя за увеличивавшейся слабостью и замечая, что приступы доставляют странное бредовое удовольствие, -- от истощения она легко впадала в беспамятство.

-- Праздник близко, товарищ заведующий!

Михаил Михайлович отвечал:

-- Не могу, граждане. Мне прекратили высылку денег. Опасность саранчи... Как же можно авансировать, когда такое положение.

Хлопкоробы, топоча в передней, уходили. Таня слышала горячие, взбудораженные голоса за окнами. Наконец они и совсем схлынули. Тишина высилась кругом. Деревья лиловели за окнами, окутанные изморосью, -- как бы в чехлах. Иногда в неурочные, наиболее уединенные часы окна затенялись припадавшими к ним головами, слышались постукивание, певучее клянченье милостыни или просьба работы. Это бродили беженцы из Поволжья по пять, по шесть человек, может быть, семьями, может быть, связанные соседством, или старым приятельством, или воровскими умыслами. Но стоило Степаниде вынести им несколько корок, -- начинался злой галдеж, они вырывали друг у друга подаяние, чуть не дрались, и конца этому не было. Выбегал Багир, бросал в них звонкие, гортанные наподобие русских ругательства, и они, ворча, отступали перед румяным мальчишкой, удалялись, укрощенные юношеской сытостью и здоровьем.

Внешние впечатления, особенно приятные и легкие, не оставляли следа в ее темных мыслях. Она сосредоточенно, в тихом отчаянье, твердила про себя, что жизнь не задалась, что ей нет прощения, ей, допустившей смерть дочери. Надо было сделать последнее усилие души ("Не надорвалась бы!" -- казнила себя Таня), быть, если возможно было, внимательнее, проникнуть в самую глубь желаний и помыслов больной, вовсе не спать, бодрствованием помогая борьбе со смертью, -- выжила бы Мариночка. Бесплодные сожаления душили ее. Стоны беженцев доходили как напоминание о горе. Подчас она удерживалась от порыва закричать, разбить окно, выкинуть все жалкое имущество, которое нищим казалось, верно роскошью.

Михаил Михайлович спрашивал:

-- Что с тобой? Ты какая-то темная.

Она усмехалась жалобно и презрительно и молчала. Молчаливость стала естественным ее состоянием. Он обрадовался, когда однажды она полюбопытствовала про беженцев:

-- Где они живут, Миша?

-- Как звери, где попало. В разрушенных деревнях, в камышовых шалашах, строят из лохмотьев юрты, вся Степь кишит ими. На деревьях гнездятся...

-- Как страшно в России потерять кров!..

Она думала о своем. Красный домик нырял в дождях как доска потонувшего корабля, с которым пошли на дно десятки тысяч тонн богатств, могущества и слишком роскошного, удушливого уюта. Красным домиком несло странное существование обитателей. Они решили, что за границей штиля, окружившего их кораблекрушение, все вертится в урагане, не сулит добра. Таня получала от сестер письма из Москвы с воплями о разорении, нищете, сокращении штатов. Крейслер пытался подсмеиваться над "старыми девами". В грубых и жестких границах житейских несчастий одиночество освободило весь их внутренний душевный стон, заставило слушать дальнейшее грохотанье с опасением. Никогда еще Михаил Михайлович не видел так ясно себя, как в ту дождливую, захолустную зиму. На Таню накатывали припадки страха, но этот страх находил выражение и оправдание.

-- Саранча сгонит нас отсюда. Ты новый, чужой в России человек. Продремал в Имам-Заде-Гашиме, в Казвине, в Лаушане... Иные, может быть, прохрапели, вот как наши, всю революцию в Москве, в Петербурге, но они были на глазах. И сами приспособились. А мы... Безработица...

Она часто повторяла это, твердила как заклинание, добивалась того, что слова получали новую весомость, образ слов расширился, -- ей это казалось предвидением. Она преувеличивала все в навязчивой тревоге.

-- Ты вспомни, как мы ютились в трущобе, голодали, когда ты искал должности.

-- Зато сразу нашел две.

-- Но в гиблое место. И жалованья хватает только на табак. А Марина?..

Умерла дочь, малярия изводила жену, но Крейслер не имел возможности двинуться отсюда.

-- Если тебя посадят, я умру.

Он спрашивал себя, не без самодовольства, откуда у нее такой голос, у дочери московского попа, -- голос,

звонящий любовью, о которой только пишут в книгах, которая наполняет ямбы трагедией? Крейслер взял ее из лазарета кавказского кавалерийского корпуса розовощеким собранием наслаждений. Васильковые глаза сияли на мир с почти угрожающей наивностью, но зато в них был влюблен сам мистер Смит, английский офицер при штабе дивизии, и они так темнели... На худощавых, чуть скуластых щеках горел румянец, который порождают лишь московские просфоры, усваиваемые великолепным желудком. Чудесная ее русская чистопородность размягчила его обрусевшее сердце желанием нераздельно слиться с новой расой. И она так привлекала его тонкими руками, так покорно подставляла чуть дрожащие груди, так беззаветно падала на постель, что и теперь, когда болезнь обтянула ее череп желтой кожей, поредила косы арбатской Гретхен, обводнила взгляд, заглушила ароматное дыхание, сделала бесплодной, теперь, когда он часто думал с подавленным стоном о других, неизмеримо худших, но новых женщинах, -- даже теперь он на коленях исступленно целовал ее пахнущее болезненной испариной тело. Благодарность переполняла его. За время персидских передраг она столько вынесла, столько раз спасала его, спасала дочь, спасала остатки имущества, на себе вывозила телегу супружеского существования, ободряла его, обладая даром вдвухать силы. Все эти воспоминания, все эти чувства сливались в тяжкий поток накипающих где-то около горла слез, он безудержно принимал к ее ногам, худым, посиневшим, мальчишеским. Кровь густела, затмевалась, гонимая взбесившимся, расширенным сердцем, он принимал каждое движение жены за содрогание поднимающегося желания. Жалость хватала его сухими, горячими руками, он не замечал ее больной, усталой улыбки. В наступившей тишине он слышал тихий, воркующий шепот и струение их, как бы неразъединимой, крови, -- всю полноту сливающихся жизней. Это было нездорово и заманчиво, как бред. Занятый, усталый здоровой усталостью, мужчина принуждал себя не замечать в жене неровностей настроения, утомления, требовательности. Если он и замечал их, то считал признаками выздоровления от тяжелой апатии горя.

Однажды она пересмотрела все его книги и заявила:

-- Учись больше и лучше. По-настоящему, для себя. Сделайся специалистом. Ты знаешь языки, работай.

Онуфрию Ипатычу она безоговорочно сказала, что ненавидит пьяных, и так как на его глазах отвалила от посещений Марью Ивановну, назвав ее сплетницей и мещанкой, а мужу запретила ходить к Бухбиндеру (и тот подчинился), то и он покорно бросил пить, дневал и ночевал у Крейслеров и, трезвый, оказался склонен к длинным философствованиям. Встрякивал толстыми прядями художественных патл, заведенными еще тогда, когда собирался перейти из среднего земледельческого училища в школу живописи, и произносил положительные тирады нудным баском. Он все порывался продолжать образование, но не мог одолеть ни одной книжки. Скулил о погубленной жестокими, неразумными родителями молодости, но обижался, если ему намекали на его леность. От коренастой его фигуры в мятой парусиновой одежде веяло недовольством и меланхолией, которые он быстро усвоил от Крейслеров. Каждый его взгляд на Таню был равен объяснению в любви. Она целомудренно сторонилась. Крейслер находил, что с ним трудно подружиться. Они утомляли друг друга не меньше, чем всех их однообразная ориентальная стряпня, которой злоупотребляла кухарка Степанида, пользуясь отсутствием на кухне хозяйки: нынче шашлык, завтра кебаб, послезавтра плов и опять сначала.

II

Вермиенко уехал в Новую Диканьку к брату и с той же подводой утром прислал записку:

"Под самым нашим селом нынче утром прорвало Карасунь. Попал в мобилизацию, назначили десятником, -- вот тебе и гостины! Если хотите посмотреть, -- Татьяна Александровна никогда такого не видела, -- приезжайте. Полно народу кругом. Заночуете у нас".

-- Он и тут о тебе заботится. Тоже, нашел развлечение. Однако, если хочешь, съездим.

Михаил Михайлович улыбнулся не без лукавства, глаза чуть-чуть подернуло зеленью. Именно поэтому Таня немедленно согласилась.

После малярийных припадков, тусклых зимних дождей, тянувшихся неделями, тишины и скуки супруги первый раз выехали из дому. Завод угнетал неустроенностью, заброшенностью, пустыми складами, где вместо хлопка-сырца вилась темная липучая пыль пятилетней давности. Жизни не к чему было придраться, чтобы начать все сызнова: чтобы завод работал, хлопкоробы сеяли, Крейслер распорядился и распределял обильные пайки.

Гнедой мерин Пахарь, виляя круглым крупом, выбрасывая задние ноги, хорошо нес легкий шарабан. День сиял спокойствием, дышал прохладой, напоминая подмосковную осень с покидаемыми дачами, сельскими ярмарками, началом школьных занятий. Окрестности блестели, как начищенные, что-то медное было в этой кратковременной ясности, и только у горизонта, как по краям холодного блюда, внесенного в комнату, чуть-чуть туманилось, подергивалось потом, курилось, -- это быстро просыхала земля под мощным солнцем южного полудня. Легкие возвышенности и косогоры были уже тронуты желтоватым пухом: сквозь пески пробивалась трава. Крейслер поглядывал на жену. В пальто, перешитом из его травянистого цвета английской шинели, в ситцевом платочке горошками она помолодела. Ее прохватывало ветерком, насылая краски на худое, чуть скуластое лицо. Особенно трогательно розовели краешки ноздрей. Шаловливый и добрый, как котенок, ветер нагонял на глаза влагу, а в голову жалобные мысли о том, как мало радостей перепадает этой любимой и преданной женщине, и Михаил Михайлович, отогнув платок, поцеловал ее в щеку, сказал:

-- Прости, женка.

До Новой Диканьки считалось верст пятнадцать, добрались за полдень. Село рассыпалось белыми хатами, садочками, палисадниками на едва приметном взгорье перед широкой низиной, по которой теперь разлилась прорвавшаяся река. Карасунь, бросаясь с пограничных гор быстрым потоком, по равнине течет широко и спокойно. Как и все реки этого края, она обильна илом, ил отлагается на дне и по берегам, получается естественное обвалование, всегда, кроме того, подкрепляемое жителями, оберегающими реку в ее границах. Под Новой Диканькой поверхность реки поднялась выше окружающей суши и таила опасность прорыва. Быть может, полевая мышь или крот пробил норку к воде, и вот безудержная струя хлынула, быстро размывая отверстие, чтобы через несколько минут в широкую брешь рвануться в низину.

Из-за поворота сразу необъятным мерцанием водовертей выглянуло новое озеро, мутное, желто-серое под ясным небом. По воде шла рябь от окрепшего здесь ветра. Сердце Михаила Михайловича захолонуло воспоминанием о весенних русских разливах. "Всю пыль из души выдуло", -- хотел сказать он, но только во весь рот улыбнулся. Нахватавшись сырости, мощно и вольно дул ветер, трепля крыши, калитки, перебирая ветви деревьев, гоня белое облако, тенью помрачившее озеро, прибывая подолы молодух, спешивших из села и оглядывавшихся на догонявший их шарабан.

-- Где тут живет Вермиенко?

Молодухи дружно покрикивали, поводя очами, взмахивая руками, объясняя, что "близенько, хата пид бляхой, коло самой воды...". Их уже не слушали, лошадь, пугая кур, понесла по пустому селу вскачь, быстро перемахнули улицу и выехали к другому краю. Тут веяла настоящая тревога. Как прибор доносился шум работ. Отдаленно бушевал гул голосов, вырывались отдельные вскрики, и, как на пожаре, раза два резануло бабьим голошеньем.

Ветхая, молчаливая старуха приняла их у ворот. Низко поклонившись, шевелила впавшими губами, словно молилась. Таня уловила в морщинистых, высохших чертах сходство с Онуфрием Ипатьчем. То же родство было заметно в какой-то безразличности и медленной отрывистости движений. Ни во дворе, ни в хате никого не было, -- все ушли на воду.

На задах села вода подступала прямо к плетням огородов. Там шла беспорядочная надрывная возня. Никто ничего не понимал, все кричали. Мужики отстаивали каждый свой двор, и только необходимость заставляла, наматывая вал у своего плетня, делать соединение с соседями. Михаил Михайлович сердился.

-- Стоит завтра пойти дождю или сильно потеплеть, тронуть слабые горные снега, река подыметесь и все снесет к черту. Разве так работают?

За последней хатой, у часовни на шоссе мялась небольшая кучка властей, -- человек восемь, -- спиной к селу. Патлы плясали из-под потертой кубанки приземистого Онуфрия Ипатьча. Он повернулся, увидел

Крейслеров, и неуместная радость засияла у него на лице, заиграла в слишком размашистых движениях.

-- Татьяна Александровна! Михаил Михайлович! -- кричал он и тряс ее руку с такой счастливой тоской, словно не видел месяц, словно их приезд осушит залитые поля и вообще принес всяческое благополучие.

Подвел к высокому человеку с заветренным лицом, с толстыми усами. Человек этот несколько наклонился, едва пошевелил усами, подал тяжелые негнущиеся, деревянные пальцы. Лик его хранил выражение такой напряженной силы, широко расставленные ноги так глубоко врылись в рыхлую обочину, все в нем было исполнено такой ответственной важности, словно он невидимо поддерживал небесный свод.

-- Наш сельский председатель Афанасий Ипатыч Веремиенко и мой брат!

Онуфрий Ипатыч горел подобострастной готовностью услужить, показать, суетился, толкался. Сивобородые старички из председателевой свиты переглядывались с усмешкой.

-- Затоплено пустыки: всего десятин пятнадцать, да из них половина пару.

Веремиенко клокотал незнакомой Тане веселостью (странно меняются люди от обстановки), скакал сущим школьником.

-- Часа за два до вас приехал председатель рика товарищ Эффендиев. С ним инженер Траянов, два гидротехника. Было совещание, они сейчас окончательно вырабатывают план.

Повернулся, потянуло спиртным духом: значит, разрешил!

-- Та воны и идут, -- прошамкал один из старичков не оглядываясь, как будто сама земля подавала ему знаки о приближении великих мира.

Впереди всех шагал тонкий, слегка сутулый молодой человек в ладной черкеске. Еще издали он поблескивал желтоватыми белками с высокомерной живостью. За ним попевали два рослых парня в кожаных куртках и технических фуражках, и сзади всех ковылял щуплый, среднего роста старик с седой длинноволосой бородой.

-- Инженер Траянов. Он самый главный и есть, -- голова. Он и выработал план, -- многозначительно шептал Веремиенко.

Широкое, с крючковатым носом лицо старичка поражало лимонной бледностью и сплошной сеткой мелких морщин, нажитых за книгами. Выпуклые глаза его слезились в красных, опухлых веках. На нем было старомодное пальто с пелериной и фуражка с плоским козырьком. Он кого-то мучительно напоминал Тане.

-- По плану инженера Траянова, -- а мы его обсосали и утвердили, -- реку надо брать в старое русло, то есть в то, которым она текла десять лет тому назад. Теперь его надо привести в порядок и укрепить.

Эффендиев говорил по-русски неожиданно хорошо, уверенно, будто ему вставили горло и голосовые связки московского мастерового. Худоба придавала необыкновенную легкость всему, что он делал: взмахивал рукой, поводил великолепными зрачками на приезжих, на женщину.

-- А технически все изложит наш инженер.

Прикашливая, щурясь, заслоняясь ладошкой, Траянов долго объяснял о валах и каналах выше прорыва. Мужики являли нечеловеческую, жуткую внимательность, искажившую их старческое благообразие. Дослушали, вздохнули.

Через четверть часа огромная толпа работавших перекочевывала на новое место. Таня бежала, запыхавшись, держась за руку мужа. Они отстали от мужчин и втерлись среди баб, необычно сосредоточенных, неговорливых, нелюбопытствующих, сжимавших лопаты. В тесной толпе, напоминавшей овечьё стадо, пахло рабочими запахами: испариной, горячим дыханьем и особым, не неприятным, ароматом сырой земли. Эта вескость и однообразие запахов связывала идущих больше, чем все речи или даже разумное сознание цели. Если они начинали шмыгать носом, -- шмыгали дружно, сморкались почти враз. Даже детишек заражала эта истовая строгость. Они не разевали рта, не глазели на затесавшихся чужаков. Забота и испуг прижимали их к матерям.

На месте работ, у неуклюжего низкого каменного моста, Крейслер порывисто огляделся, минутная задумчивость проложила складки на лбу, стянула и замкнула губы, и вдруг он весь озарился.

-- Вот и здорово! Хорошо и просто. Но нужны настоящие знания и сметка. Котелок у дедуси варит хоть куда!

Карасунь текла в странно высоком ложе. Влево, если смотреть по течению, и по другую сторону от села отчетливо обозначался большой сухой ров, старое, перемененное своенравной рекой русло. Траянов поставил задачу укрепить его и перевести туда коротким соединительным каналом воды Карасуни. Техники, старики и Веремиенко разбивали работавших на партии, старичок в пелерине и Эффендиев беседовали на мосту. Почтительно нависая над инженеровым плечом, отгибая объемистой ладонью ухо навстречу рассуждениям, спасающим поля его села, переминался Веремиенко-старший. Крейслер подошел к нему.

-- Я тоже хочу работать.

-- Потрудитесь, будьте любезны.

Михаилу Михайловичу дали лопату и под начало человек пятнадцать селян, отправили проверять укрепление правого берега старого русла. Они быстро спустились под мост, на котором остались только Таня и ребята. Она видела, что он что-то горячо объяснял своей партии, махал рукой, потом все рассыпалось по низине, удалялись, роя и утрамбовывая землю. Михаил Михайлович возил тачку с глиной, Таня знала, что он работал самозабвенно. Темная ревность шевельнулась в ней: никогда ей, лично ей, он не посвящал столько трудов, не делал ради нее столько усилий. Вот он потерялся в гуще работающих. Там, верно, очень сыро. Это похоже на то, как копают торф. Она боялась, что он простудится, и сердилась, что он не прибежит ее навестить. По мере того как вся масса крестьян начинала видеть результаты работы и понимать ее смысл, дело шло спорей, низина наполнилась криками, веселыми и бодрыми, чаще слышался женский смех, -- Таня скучала и досадовала на свое отщепенство.

День переломился, потерял ясность. Солнце садилось в тучу. Оно, как капля расплавленной бронзы, стремительно, заметно для глаз опускалось за мрачные сооружения из темно-сизых клубов с кровавыми щелями, у пустынного, ровного горизонта. Парная сырость дня перевоплотилась в холодное предвесье ненастной ночи. В зеленой воздушности неба проступил ущербный месяц. Его язвительная бледность, знакомая с детства, ровесница сознанию, подняла в Тани волну опасений перед нерусскостью, чуждостью этой своенравной природы с бродячими реками, с болезнями. Подбежал Веремиенко.

-- Татьяна Александровна, вы устали. Параска, Олька! (От перил отделились две белокурые девочки.) Проводите тетю домой. Это мои племянницы. Не скучайте там, поговорите с матерью. Она ведь у меня не хохлушка, балакает и по-вашему.

-- Спасибо, Онуфрий Ипатыч. Передайте Мише, что я сержусь. Мог бы подойти... И промокнет...

По дороге встретился Траянов. Вежливо снял фуражку, поглядел брюзгливо. Таня едва не вскрикнула: "Фет! На Фета же он похож!" И мгновенно успокоилась от своих тревог.

В хате удушала чинная праздничная скука. На столе топорщилась свежая суровая скатерть. На стенах обильно висели рушники, бумажные розы, картинки, килимы, на одной лавке лежал палас. Здесь довольство выставляли на вид, подчеркивали. Все это сплывалось, -- не вздували огня. Старуха ввела гостью, встала у двери на страже, взялась выпрашивать, с неожиданным упорством наступая, -- кто они такие да откуда муж, где поженились, есть ли дети.

-- Слыхала я об вас от сына, от Олуши. Все уши прожужжал. Да ведь он у меня шалый, не то что Афоня. Его вскружить легко.

Вздыхала с неприязненной старческой пронизательностью, длинно рассказывала о том, как портится народ, как холостые жеребцы льнут к чужим женам.

-- Я баб виню: легко поддаются, как щепка под каблуком. А мужикам что?

Нравоучительно посапливала, покряхтывала и ровным, неизменным говорком, от которого становилось сухо в горле и шумело в ушах, читала книгу своей памяти. И все в этой книге повествовалось о грехе, завлеканьях, лжи, преступных любовях и о том, как нужно этого опасаться, чтобы вот всю жизнь прожить и ничего про себя дурного не вспомнить.

Поздно, часам к одиннадцати, Таня задремала, старуха вышла, -- темнота за окнами загудела

приближением людей. Таня ослепла от света пылающей лампы-молнии. Возвратились с работы братья Веремиенко и Михаил Михайлович. От кашля, трудных сморканий, махорочного дыма стало тесно. Афанасий Ипатыч распорядился накрыть стол: обещали быть к ужину Эффендиев и техники; повел всех умываться. Первым обратно явился Онуфрий Ипатыч, раскрасневшись, с мокрыми, приглаженными волосами, сел на лавку, гордо одобрял суету с закусками. Старуха звенела посудой у шкафа, девочки таскали холодцы и окорока, сгибаясь под тяжестью блюд, выпячивая животенки. Веремиенко, со счастливой улыбкой, придвинулся к Тане.

-- Брат вдовеет два года. Мать ведет все. А сейчас ни у кого в округе нет такого хозяйства. Жениться не позволяет. Первая -- говорит -- не сахар была. Бог за грехи вторую еще хуже пошлет. Гоголь старуха! А какие бабы на брата засматриваются! Да он матери не перечит.

Таня подивилась сухой силе этой старухи, -- ее не сбить с твердых, скрипучих мыслей, которые она считает благонесущими, вьезшихся как морщины в кожу. Таня ненавидела с детства таких упрямых старух, не удержалась и тут:

-- А я бы на месте вашего брата так легко не сдалась.

К ужину пришел Эффендиев с одним из гидротехников. Извинившись, хозяин достал из-под лавки две бутылки виноградного спирта, налил стакан, произнес: "Дай, боже! -- Поправился: Будьте здоровы, товарищи!" -- выпил, подал Эффендиеву. Чара дошла до Онуфрия Ипатыча. Тот отклонил: "Не обессудь, брат, воздержусь!" -- и горделиво и преданно взглянул на Таню.

-- Налейте мне, Афанасий Ипатыч, -- нарочно громко попросила она.

Старуха, стоя угощавшая гостей, даже зашипела и Тане уже не предложила ни одного блюда.

Михаил Михайлович повеселел, побагровел, мигая устало и беззаботно зелеными глазками, и все восклицал:

-- Три четверти работы сделано, слышишь, Таня!

Эффендиев пил и ел, не отставая от председателя сельсовета, сиял белыми зубами, жмурился, со страстью обгладывая кости.

-- Запарился я тут, -- вдруг сказал он, -- беженцы, наводнение, пятое-десятое. А как дела с саранчой, товарищ Крейслер? Чудеса: я имею известия о саранче из центра по твоим же донесениям, товарищ Крейслер. (Он легко переходил на "ты".) Здорово у нас бумажки летают. Теперь уж ты мне тоже пиши, осведомляй. Глядишь, пригожусь.

Также неожиданно он повернулся к Веремиенко-младшему:

-- Я и тебя вспомнил. Ты во время войны служил конторщиком у Шамси Асадулаева на промыслах. Я тартальщиком был, даром что мальчишка.

И в почтительной тишине рассказал, как его хотели арестовать и пришлось удрать в Степь, пастухом к молоканам -- до самой революции. В чабанских скитаниях он забредал далеко, даже за персидскую границу, в страшные места, к берегам глухого озера Бей. Там, собственно, несколько озер и много речек, огромные пространства земли и песков заросли тростниками, в которых можно пасти скот только зимой, потому что летом из-за слепней и комаров скот бесится и люди заболевают. Только крайние бедняки остаются там, кое-где сея рис. Это немеренные места, неведомые воды, и туда течет Карасунь. Там по озерам встречаются плавучие острова, покрытые тростником, там есть участки, где почва состоит из отмерших корней тростника толщиной в пять и более аршин. И там постоянно водится саранча, иногда отрождаясь в несметных количествах. Все эти сведения Крейслер определил как драгоценные и записал.

Разошлись поздно. Оказалось, что о ночлеге Крейслеров никто не подумал.

-- Старая ведьма нарочно это устроила, -- шепнула Таня мужу.

-- Не важно, -- ответил тот вполпьяна. -- Главное, три четверти работы сделано. Завтра спустят воду. И насчет саранчи начальство шевелится.

За стеной, слышно было, братья спорили с матерью, затем принялись таскать тюфяки в холодную горницу.

-- Ну и матушка у Онуфрия Ипатыча! Я понимаю, почему он убежал из дому. И как нас приняли. Ну, чему ты радуешься! Сапоги рваные, ноги мокрые. Простудишься. И все улыбается. Чему?

-- Людям и примирению с ними.

-- Да ты с ними и не ссорился, -- тупо возразила она. -- Ты весь, целиком им предан. Ты только меня не видишь, смотришь как на пустое место.

За дверью прошелестели и притихли легкие старческие шаги.

-- Что с тобой, Танюша? Нас же слушают.

-- Ну и пусть слушают, пусть знают все, как ты несправедлив ко мне.

И она расплакалась слезами женщины, которую не понимают.

## Глава третья

I

-- А, здоров! -- закричал Бухбиндер, высунувшись из задней комнатухи на звонок открываемой в аптеку двери. -- Малахольный пришел! -- оповестил он. -- Товарищ Онуфрий Ипатыч!

Из комнатенки поползло урчание, обозначавшее удовлетворение и приветствие.

-- Пьете? -- хмуро спросил Веремиенко. -- Кто?

-- А что еще будут делать у меня в пещере такие волкодавы, как пан и ветеринар Агафонов? Не выдержал?

Пузырьки и банки отзывались на восклицания жалким, неживым дребезжанием. Хозяин никак не соответствовал изнурительной аптечной полутьме и грозной аптечной вони. Он всю округу удивлял прекрасно выбритыми щеками, желеобразно-пухлыми и легкими, не старившимися вот уже сколько лет. Меж выпуклостями щек, подбородка, лба с превосходным изяществом плавали толстый носик и улыбающиеся губы. Все это иллюминировалось живыми, светло-кариими глазками. Бухбиндер славился пристрастием к девчонкам, которых брал в наложницы, чаще из заморенных мусульманских семей, откармливал, держал взаперти. Этой зимой ему посчастливилось соблазнить сироту-молоканку лет пятнадцати.

Веремиенко перешагнул порог пещеры, и вот он снова в продымленных куцах Бухбиндера. В полутемной каморке, с выходом в аптеку и дверкой в сортир, за утлым столом, на котором стояли две старинные, темные бутылки, пировали пан Вильский и статный великан Агафонов, внушительную крепость которого не успели еще съесть ни алкоголь, ни скука, ни тропический зной, ни малярия, -- все то, за что зовут Закавказье погибельным. Веремиенко оторопел от затхлого чада, от запаха уборной, винного перегара, скверного табака, от решетчатого пыльного окошка под самым потолком.

И пошло: "Ипатыч, алкоглот, патлать, да он сердцеед, сердцеед! Друзей ради бабы покинул, выпей, старик, налью, отец, закури, а то, смотри, бросил, Онуша, друг, за милых женщин налей ему еще, пан, догонять, догонять, догонять нужно, не могу, братцы, -- толстое рыло хозяина летало над столом, как футбольный мяч у сыгравшейся команды, -- одну кончили, трахнем за нее, Онуша, за милую твою, дай-ка завернуть, возьми у меня рештского, -- уже прекрасные губы Агафоновы тянулись к нему, -- дай, друг, поцелую, люблю тебя, Онуша, за любовь твою к женщине, за уважение", -- дно второй бутылки подымалось все выше. В магазине зазвенел дверной звонок, благовестник Бухбиндеровых барышей.

Он выбежал и вернулся, потрясая пачкой дензнаков.

-- На бутылку араки есть, ребята! А вы лакать стесняетесь. Я вот сейчас татарину за банку ртутной мази хлопнул цену: тридцать лимонов, говорю. У него даже морду своротило. А сам: "Чох якши". Не поверите, до чего мне они надоели. Давеча фасую доверовы порошки, а так и ноет думка: хорошо бы в них стрихнину подсыпать. Очертела грязная татарва, холеры на них нет! Ну, кому переть за аракой?

Метнули жребий, вышло -- пану.

-- Ребята, сдавайте револьверы! За третьей посылаем!

Бухбиндер построжал. Напиваясь, гости не раз пытались предаться кукушке. Аптекарь никогда не терял памяти, -- до стрельбы друг по другу не доходило. И слава богу, на двадцати квадратных аршинах трудно промахнуться даже в полной темноте. Палили в стены, в узор на ковре, однажды расстреляли целую корзину гранатов и персиков. Агафонов лениво полез в задний карман.

-- На, черт с тобой. Пойду коня расседлаю. Засядем.

-- Я тебя давно не видал, Онуфрий, -- сказал Бухбиндер. -- Худеешь очень. -- И заметил совершенно безразлично, как будто мысли рождались не в мозгу, а ползали, что ли, по лицу и он их едва замечал. -- Мне Тер-Погосов жаловался на твоего немца.

-- Какой Тер-Погосов? -- удивился Веремиенко.

-- Какой, какой! -- сварливо передразнил Бухбиндер. -- Не знаешь, что у тебя под носом делается. Тот самый, который у вас опрыскиватели отобрал.

-- А, волосатый... Как же его иначе встретить? Саранча, -- а он "Верморели" отбирает на бочки переделывать, дерьмо возить. Так уж его пожалели, отпустили, да пан уговорил и аппараты отдать без скандала.

-- И очень хорошо сделали. Это мой родственник. Я бы за него с твоего Крейсlera голову снял, жену вдовой оставил.

-- Что "ну"? Что такое за "ну"? Его брат женат на сестре моей покойницы жены. Как это, -- свояки? Ну да -- свояки, конечно. О чем это я?.. Тебе правда нужны деньги? Помнишь, ты осенью говорил о двух тысячах...

Веремиенко молчал. Жалкая и злобная усмешка, сползая с губ, исказила лицо и, как шрам, застыла, стянула левую щеку, заволокла левый глаз.

-- Смотри, -- пробормотал он, -- ты не смейся! Я голову заложу.

-- Какой смех? Что за смех? Ты тоже хорош! Нет чтобы спросить у Бухбиндера, в чем дело. А дело же в том, что затеваются очень большие дела!

Бухбиндер суетился около стола, как бы вздымая пыль, пол дрожал от каждого его движения. Веремиенко испытывал потяготу, желание расстегнуть ворот.

-- Этот самый Тер-Погосов теперь в Саранчовой организации большой шишкой: начснаб. Так на ваши опрыскиватели, которые негодились комхозу, уже нашлись покупатели -- Иванов и Бухбиндер.

-- Кто такое Иванов?

-- А я знаю? Человек, которому нужны деньги. Он любит женщину, прямо с ума сходит. И готов ей бросить деньги под ноги, даже невзирая на мужа: вот вам! Делайте что хотите, поезжайте куда хотите! Это моя любовь. Ну, так Иванов -- мой компаньон, который подписывает счета. А у Иванова есть свой покупатель -- Саранчовая организация.

Веремиенко захохотал. Он хохотал, отдельно выдыхая каждый звук, невесело, не заразительно и безудержно, обеими руками вцепился в косматые волосы, раскачивал голову. Бухбиндер уставился на него угрюмо, почти с испугом, выжидал.

-- Кто так смеется, тому нельзя доверять.

Веремиенко мгновенно замолк.

-- Понял вас. Ах, дьяволы, до чего додумались!

-- Ну да, -- двести процентов прибыли. Саранча -- это форс-мажор. Я тебя люблю, Онушка. Ты на меня там злился, а ведь я понимал, что не серьезно: выпьешь, все пройдет. Ты же знаешь всю округу, понимаешь в этих прысканиях. Нам сейчас такой человек -- золото. Дела такие начинаются, что мы с тобой к осени в Москву удерем. Подумай, -- Москва.

-- Москва, Москва, -- повторял Веремиенко, облизывая пересохшие губы.

-- Входи в дело, -- прошептал Бухбиндер, услышав звонок.

Вермиенко сухо выдохнул: "Хорошо". Багровое самозавнение ударило в глаза, в сердце, наполнило шумом уши. Миг, -- и он очнулся, но уже пьяный, утешенный особым опьянением алкоголика, который прервал зарок. Голова казалась необыкновенно легкой и совершенно прозрачной, лишь омраченной неуловимой грустью, что на этом прекрасном празднике, на торжестве его мужественной жизни, пире удач не присутствует женщина, которую он любит. С таким ощущением счастья, полновесного, всеобъемлющего наслаждения, сладостно пронзающей дрожи летит на санках с крутой горы отчаянный мальчишка. Снег порошит заслезившиеся веки, и в глаза, в волосы, в ноздри, в рот, в рукава, под полы шубенки -- набивается, рвется, лезет сияющий, звонкий, ароматный ветер и несет на своем упругом крыле к неведомым границам неопишуемого ужаса, и жаль, -- санки замедляют ход. Вошел Агафонов.

-- Я остановился на тебе, потому что ты не такой несерьезный и не болтун, как пан Вильский, -- успел свернуть Бухбиндер, унося оружие к молодой наложнице.

Вермиенко пил и не пьянел больше, только, как ему казалось, становился одухотвореннее и умнее.

Началось опять: "Двинем еще по одной, не передергивай, я френч сниму, чего стесняться, вали, крепкая, черт, пасхой воняет, на то арака, из кишмиша гонят, так что ж она должна тебе абрикотином пахнуть, попили абрикотину, будет, попили нашей кровушки..."

-- Берегите закуску! -- кричал хозяин, хотя два помидора беспрепятственно расползались на тарелке нетронутые, а больше ничего не было. -- Ставлю двести грамм ректификату.

К вечеру Агафонов уехал. Пан уснул, ощерив рот с тремя почерневшими зубами. В пещере клубилась копоть располыхавшейся лампы, Бухбиндер ожесточенно гремел:

-- Грабь их, они нас дотла ограбили! Заметано. Четыре сбоку, ваших нет. Эх, пить будем, гулять будем! Не забывай, Онуша, у нас уговор.

Забивался в угол, наклонял голову, надувался; распухал, где-то в носоглотке у него фальшиво клокотал напев наурской, он топал ногами, трясся всем телом, изображая танцы и разгул: и у нас-де была молодость, и мы знали лучшие времена, не этим чета, ну да еще поживем, фортуна-то у нас в руках, -- так Вермиенко должен был бы читать иероглифические телодвижения. И читал, будучи как раз в том состоянии, когда понимаешь этот древний язык.

Хозяин провожал его по селу. Теплая, туманно-черная, с сырым духом мыльни ночь плотно навалилась на село, -- тихо, лишь откуда-то из Степи подкатывалось звериное всхлипывание, должно быть шакалье.

-- Ты помни, Ипатыч, предприятие наше большое. Сейчас все, что ни найдем против саранчи в округе, все можно загнать через посредников. Нас грабили, -- теперь довольно. Наша очередь: грабь награбленное. Я не за себя говорю. Я как был провизор, имел аптеку, так и остался.

-- А за кого же?

-- За Россию. Всю страну разорили.

-- За Россию не таранти. С этого вечера Россия без нас обходится. Надо так понимать: открыли закрома, я сую руку. Прищемят руку, не кричи. ("Ну, ну", -- проворчал Бухбиндер.) Я хотел с хлопком работать.

-- С каким хлопком?

-- Эх, все мы человеки... Хотел на сырости заработать. Хлопок вещь темная: принял сухой, сдал чуть посуше. Разница в весе -- разницу в карман. Да с этой саранчей ни лешего теперь не будет. Я давно решил, это ты правильно подметил. Один жил за большевистское жалованье. Пала в сердце любовь, -- разорваться -- деньги нужны. Ее лечить надо, погибает. Жизнь повеселее показать. К кому пойдешь, кому скажешь! А она, может, с детства мне снилась.

Село обрывалось слитным мраком: поле и небо.

-- Говорить с тобой интересно, но дальше я не пойду. Страшно бедному еврею одному возвращаться.

-- Ты не такой трус, каким прикидываешься.

Крейслер давно миновал безымянный аул, очнулся от задумчивости: заехал слишком далеко. Слегка волнистая долина, по которой, мощно и упруго извиваясь, влачит воды и тростники Карасунь, сменилась ровным, выпуклым, как море, плато. Жесткая трава как будто скрежетала, поредев, обнажала тусклые, белесые пятна -- солончаки, к которым жадно прилипают солнечные лучи.

В алмазном прозрачном воздухе шахсевана можно узнать по неповторимому очертанию. Всадник. Остроконечная шапка (баранья шапка мехом внутрь). Винтовка с вилкой со знаменитым приспособлением, на которое, спешившись, он кладет, как на упор, верный ствол, и тогда бьет без промаха: патроны дороги, русские сами воюют между собой. Шахсевана увидеть трудно: норовит пробраться камышами, -- у него слишком много врагов.

Крейслер во все глаза вперился в подозрительную даль. Всадники, двое. Остроконечные шапки. Винтовки. Черт их разберет, есть ли на них вилки или нет! Человеку, который заблудился в Степи, простительно, в предчувствии подобной встречи, ощутить такой холодок, как ветер с гиблого болота. Далеко не ускачешь, лошадь утомлена. Под гривой, под подпругами влажно. Она тоже иногда поводит ноздрями, воздух пустыни сух. Извинительно, если всадник произносит вслух:

-- Говорят, они не трогают, коли к ним с мирными намерениями...

И, понукнувши прядающую ушами кобылу, он нерешительно, -- чтобы скрыть опасение на рысях, -- направляется к... о, милые красные пограничники! Это их шлем принял он за страшные бараньи шапки. А еще хвастался зрением.

-- Как отсюда, товарищи, пробраться до Черноречья?

-- До чего?

-- До Черноречья, молоканское село.

-- Да ты знаешь, что ты чуть не на самую персицкую тилиторию заскакал! -- И в говоре такая несомненная Кострома. -- Эва, где Советская Россия! Вон видишь энти камыши, речку Юзбаш-Чай? А от нее канава. По канаве и поезжай. Верст десять протрусишь, так тут будет хутор пожженный. Ты от него влево поверни, круто влево, по стежке, да так и не сворачивай. Правильно возьмешь курс, попадешь к анжинеру, контора там его по орошению, у него выпытаешь, как тебе добраться до места. Только это не ближний свет.

-- Вы-то зачем сюда попали? Контрабанду ловите?

В ответ взгляд белесых недоверчивых глаз.

-- А, баранту тут угнали, -- неохотно выцедил тот, что поразговорчивей. -- Татары у татар воруют. Перебили несколько душ и голов сто овец угнали. Ну, тепер ищем.

-- Вдвоем?

-- Нет, по округе еще хватит наших. Да ты что больно пытаешь? -- И тут же замял упрек. -- Нельзя такой беспорядок допускать, мирным жителям покою нет. До чего дошли эти шахсеванцы.

Разговорчивый опустил поводья, крутя толстую вертушку. Попросил спичек и, в благодарность, рассказал, как разбойники, подкравшись неслышно к стаду, хватают барана-вожака и, надрезав ему уши, ставят головой прямо по тому направлению, куда нужно гнать бестолковых животных. Обезумевший вожак срывается с места, стадо за ним, -- летят так, что на карьере лошади отстают.

-- Мы в этом краю -- главная культурная нация, мы и должны порядок производить, -- важно заметил другой парень посуше, потемнее, постарше. -- Без нашей силы вовсе все в упадок придет. А здесь такое богатство, -- не фыркай, что, мол, неприглядно, -- неужто ему даром пропадать! Пускай пролетариат попользуется, -- и сам рассмеялся своей мудреной речи. -- Ну, трогай! -- сказал и деловито подобрался.

Солнце напекало по-весеннему, это, значит, градусов на тридцать с лишком, согнало десяток потов с Михаила Михайловича, и, куда ни глянь, -- везде его сверканье, везде его победительный жар. Жар ползет сверху, жар таится в прозелени трав, шелестит в камышах, зеркалится с надутой жилы канала, раздражает почесотой спину, -- а туда нет возможности дотянуться, -- мозжит, размаривает. -- ну, вот, как твою же

понурую лошадь, которая начинает звенеть заплетающимися подковами. И нет конца этому пышному свету, этому слишком щедрому зною, льющемуся на звонкую пустынную жизнь. Крейслер размышлял о государстве, отороченном, с одной стороны, льдистой тундрой, с другой -- вечнозелеными деревьями, песками, звенящими в шестидесятиградусной жаре. И везде эти белесые глаза!..

Наконец-то развалины! Он даже вскрикнул, даже привстал в седле. Тут, очевидно, когда-то благоденствовал богатый хутор. Добрые две десятины пушились ярко-зеленой, сочной травкой, которая селится около жилых мест. Как зубья разрушенного молотилочного барабана, как ржавые якоря по берегу торчали черные останки пожарища. Еще намечались следы стены, окружавшей поместье: главные постройки и сад. Сад оставил пни, подобье дорожек, столбики беседок. И розы. Розы растрогали Крейслера. Крепкие, от всяких посягательств защищенные кусты сияли листвой, жесткой и чистой, стеблями в колючках, и уже пошли в цветок. Мощная, благоуханная сила наливала сизоватые бутоны в сердитых усиках, и путник, хмурый и изнеможенный, вдруг ощутил, как спирт, дуновение потустороннего, обещание запаха. Этот аромат должен был оправдать все его тревоги и мучения, усталость; хорошо бы наткнуться на эти кусты и тем двум пограничникам. Тронул шенкелями лошадь, дружелюбно взглянул на солнце, поощрил: "Ну старайся, старайся, светило!"

Лошадь тревожно всхрапнула, прынула от остатков стены, едва не сбросив всадника. Послышалось легкое шипенье, знакомое всему живому. Он взгляделся в странную кучу чего-то отливавшего сизым, розовым, багрово-синим, зеленоватым. Семьи, племена змей, встревоженные, в злобе поднимали головы. Целая поросль вставала по стене. Безжалостно острые глаза смотрели отовсюду. Кобыла вынесла вскачь.

Сумерки наступили быстро, словно пролились; словно лавина полутьмы сползла на землю.

Крейслер распустил поводья, распустил колени, не чувствовал седла, кожа в растертом паху горела, тревога и досада, как жар, растекались по телу.

-- Ну и попал, -- говорил он вслух, чтобы ободриться человеческим голосом, -- ты -- сам, балда, видел, как Карасунь меняла русло. И не мог догадаться, что нельзя руководствоваться старыми руслами.

Так, борясь с дремотой, держа путь на низко сидящую Большую Медведицу, соблюдая совет, -- повернув круто влево, ехать прямо, -- пробивался он в ночи. Тьма кружила голову резким дыханием распускающейся растительности, тьма жалила укусами комаров, тьма подвывала шакалами, тьма таила пропасти; пустыни неба и земли сомкнулись, чтобы поглотить Михаила Крейслера. Слева, с северо-запада, затирая узкую полосу отблесков зари, всплывала туча, ее начинали прошивать, словно притачивая к земле, иглы молний. Туча вполголоса порывивала громом.

Он бросил, как спасательный круг, в бездну: "Таня!" Если бы она откликнулась! Он съезжился, полегчал, изумился древней легкости детства, в которое неожиданно завела темнота. И вдруг под ним раздался дико-жалобный, многоголосый рев. За ревом последовало сотрясение. Ставший взрослым тяжелый Крейслер едва не слетел с седла и только через несколько мгновений непонимания, ужаса уразумел, что ржет его кобыла, что он сам заснул. Близко жилье.

Жилье! Вон, вон оно сверкнуло огоньком.

Жилье! Внезапно напрягшееся воображение охватило все радости, какие даст ночлег. Он не усомнился в том, что это именно та контора, куда направляли давешние, канувшие во тьму красноармейцы.

Тогда огонь пропал. Так несколько раз он то появлялся, то гас, издеваясь над заблудившимся замысловатой игрой, изнурительной, вроде щекотки, пока в конце концов не затлелся где-то вовсе близко. Лошадь уперлась как вкопанная. Перед ней струилась вода. Темные массы строений висели почти вплотную перед глазами, границы их очерчивались точками многочисленных огней в окнах, довольно высоко поднятых над землей. Культура! Лошадь пошла вдоль загадочного рва, шириною, поскольку можно было определить, сажени две. Крейслер добрался до впадения канавы в реку, которая различалась лишь до середины, серая туманом. Огни пропали. Повернул обратно. Снова засветились. И опять стали заходить за выступы каких-то массивов. Скрылись. Река. Моста и в помине нет.

-- Эй! Кто-нибудь!

Ни звука.

-- Эй, отзовитесь!

Молчание.

-- О-го-го! О-о! А-а!

Кричал что-то нечленораздельное, постыдное в бессмысленности, вопя, напрягал все тело, горло саднило, орал, простирая руки. Огни жилья удалялись. Нет, не удалялись, -- превращались в насмешливые блестящие светлячков, бесполезных, обманчивых. Или хуже: свет, близкий и желанный, отделялся плотной толщей мрака, неодолимой звуком. Крейслер выхватил браунинг и, обеспамятев, выстрелил четыре раза, -- четыре драгоценных патрона. На несколько мигнов сомкнулась тишина и, вдруг, -- бах! бах! бах! -- справа, слева, в лоб громыхнули выстрелы по ту сторону канавы, вдали, вблизи, кричали что-то горловые голоса по-тюркски, открытый грудной голос возник почти под шеей лошади:

-- Кто там?

-- Свой, свой! -- радостно отозвался Крейслер. Русских разбойников в Степи нет.

### III

Траянов приветливо угощал:

-- Ешьте пожалуйста, баранина чудесная, у нас такую готовят тогда, когда прибывают гости.

Его лицо походило на пруд, заросший ряской. Длинные, жидкие космы волос спускались на лоб до густейших бровей, из-под которых насмешливо-сухо, отшельничьи глядели в воспаленных веках глаза. Рот прятался в запущенной седой бороде.

Крейслер, тычась носом в тарелку, жевал до боли, до онемения в скулах налитое чесноком мясо, отхватывая кусок за куском, безразлично взирая, как обнажается кость. Завеса блаженной, клейкой теплоты подымалась, заливая его. Почему-то, по вкусу, что ли, по наперченности, по сдобренности прянощами баранины, было очевидно, что в доме нет женщины. Но стол сиял чистотой, вино в хрустальном графине рдело с каким-то даже вызывающим изяществом. Причудливо, слишком по-мальчишески облаченного юношу (короткие панталоны, рубаха с открытым воротом), с тонким, смуглым иранским личиком, на котором мерцали "слишком красивые для мужчины" пресыщенные глаза, он не замечал. Тот раз два переменял совершенно бесшумно тарелки, -- хозяин не касался прибора, и потом, когда приезжий самозабвенно погрузился в компот, легко, как тень, распластался в кресле с четко выверенной миловидностью. Старик брюзгливо приказал постелить в кабинете постель гостю. Он учтиво улыбался, но взгляд его казался выпуклым, как жила. Крейсlera позывало отмахнуться.

-- Я одурел от этих разведок и разъездов. Заблудился, как-то сразу потерялся. А у вас как будто средневековый замок, я также с детства помню на гравюрах, -- неприступные рвы с водой, подъемные мосты, зарешеченные окна.

-- Вы вспоминаете свои затруднения и досадуете. За стенами, как видите, гостеприимнее.

Крейслеру даже сквозь усталость не понравилось, что в разговоре с ним следуют по пятам. В этом было что-то неумовимо бабье. Но набежало теплое облако истомы, и сквозь него журчала далекая стариковская болтовня.

-- Проживите в Степи всю гражданскую войну. Она выгнала отсюда три четверти обитателей, и туземцев, и колонистов. Армяне резали турок, турки армян, и те и другие вместе -- русских: поработители! Я старый поселенец, первый мелиоратор Степи. Меня знал каждый крестьянин, -- все пользовались водой для орошения, -- каждый был мне чем-нибудь обязан. Однако мой хутор "Гюлистан" (истинно страна роз!) разорен до основания, даже прислугу вырезали. Я спасся случайно, -- теперь там змеиное гнездо, -- скрылся сюда, в контору, укрепил, придал ей вальтер-скоттовский вид. На это пришлось положить не мало сил.

Беззвучно, как будто не вошел, а впрорхнул Али.

-- Пожалуйста, постель готова.

Кабинет голубел как ледяная гора. Его прохлада ощущалась в этой стране постоянного пота как

настоящая роскошь. Уставленный книжными полками, столами для чертежных работ с натянутой бумагой и калькой, он хранил табачный запах, след мужского труда. Кожаный диван, убранный для сна, высился обещанием невыносимого покоя. Лампа под голубым абажуром слегка накоптила, но это не раздражало. Али поправил подушки, но не уходил. Крейслер встал у письменного стола, ему не хотелось раздеваться, показывать бязевое белье незнакомому человеку. Взглянул на книжки, только что, видимо, читанные, это были: "Самосожжение" Рюрика Ивнева и "Сети" Кузмина. Со шкафа на стол белесо глядел мраморными выпуклостями Платон.

-- Как вам нравится у нас? -- чванно спросил Али. -- Завтра вы увидите великолепный сад, цветники и виноградники, в которых есть даже сицилийские сорта. Вы пили наше вино, но не заметили, вероятно, его букет?

Крейслер удивленно продрал веки. Юноша снисходительно осклабился. С губ потекли еще более изысканные речи:

-- Извините, мы постелили вам на диване. Это не так комфортабельно, спать на скользкой коже. Но у нас вчера приключилась потешная история.

И он медленно, словно перекатывая каждое слово за щеку, рассказал о том, как к ним, тоже заплутавшись, заехали кино съемщики, двое молодых людей с дамой, женой одного из них. Крейслер уже имел случай убедиться, насколько добрейший Всеволод Адрианович обходительный человек. Мужчин положили в этой комнате, свою постель он предоставил даме. Сегодня утром они засняли ("по их техническому выражению", -- заметил Али) контуры и работы по очистке Гагаринского канала. Их специально интересуют съемки саранчи, и они поехали дальше.

-- Сегодня же Всеволод Адрианович распорядился сжечь одеяло, подушки, простыни, даже матрас, на котором спала мадам Бродина. Это пробило настоящую брешь в нашем хозяйстве.

-- Да, ваш хозяин, видать, принципиальный мужчина. И не нуждался как следует.

Юноша фыркнул и, волоча ноги, удалился.

Проснувшись утром, Михаил Михайлович испугался ломоты в суставах, но вспомнил, -- это от езды, стал быстро одеваться, прислушиваясь к выкрикам из неведомых глубин дома. Очевидно, где-то громко разговаривали по телефону. Постучали. Он крикнул: "Войдите!" -- и в дверях показался Траянов в халате, в расшитой шапочке. Он приятно удивился, что Михаил Михайлович уже встает, пушистые фразки о хорошей погоде, от которых хотелось чихнуть, летали по комнате. И, несомненно, он также мягко и любезно сообщал бы и о плохой погоде, расталкивая заспавшегося гостя. Завтракали в столовой вдвоем, Крейслер обстоятельно отвечал на вопросы о саранче, о борьбе с ней. Траянов похвалил разведчиков, которые к нему заезжали, и неожиданно спросил:

-- Кто такой Тер-Погосов?

Крейслер изложил, что знал из протоколов, и, конечно, упомянул об отобранных "Верморелях". Он много раз повествовал об этом, и сказание приобрело даже некоторую отделку. Траянов кивал головой, лицо его потеряло неестественно благостное выражение, потемнело, подсохло.

-- Все это очень странно. Он посетил и меня. Вооруженный всякими бумажками, мандатами... Кое-что увез тогда же, кое-что взял на учет и отобрал совсем недавно.

-- Как, сам?

-- Нет, через Наркомзем. Формально все правильно. Но около него терся молодой человек... "Преувеличенно корректная внешность, наверное, шулер"... как это у Тургенева? (Крейслер давно позабыл о том, что когда-то существовал Тургенев.) Молодой поглупей, поболтливей. А что представляет из себя Вереминенко? Не председатель сельсовета, а ваш?..

-- Моего помощника, Онуфрия Ипатыча, я как будто знаю хорошо. В делах совершенный вахлак, но верный, горячий человек.

Старик помолчал. Крейслера раздражало это недоверие.

-- Ну, спасибо. Мне пора ехать, пойду седлать лошадь.

-- Нет, нет, -- живо возразил Траянов. -- Лошадь приготовят, а я еще хочу вам показать мое ранчо. Побудьте хоть полчаса.

Вышли во двор, дышавший добротным порядком и чем-то действительно напоминавший описания техасских ферм. Кирпичные дома и службы вкусно атели в густой зелени деревьев, на которой еще поблескивали капли пронесшегося ночью дождя. Ни морщинки запустения, и даже тишина казалась озабоченной, -- все ушли на работу. Во двор въехал на вороном коньке Али. На нем был серый люстриновый пиджачок и краги. Он снял кепку, вежливо поклонился Крейслеру, а тому даже собственная кровь от отвращения показалась нечистой. Али подбежал к Всеволоду Адриановичу, сообщая о какой-то кубатуре и о том, что воду завтра спустят. Старик потрепал его по лицу, и строгое лицо его замутилось как бы рябью женственной нежности.

-- Ну, ступай домой. Надо еще перевести на кальку тот головной участок. А мы пройдем в сад.

Сад, расположенный за главным домом, изумил Крейслера необыкновенным, каким-то курортным щегольством. У замысловатых цветников возился, вгоняя по бортам клумб фигурную черепицу, старый садовник. Траянов весь ушел в сосредоточенное созерцание, лицо его, редко менявшееся, застыло в благообразной задумчивости.

-- Вы, вероятно, спрашиваете себя, -- для чего старик Траянов со всем этим суетится? Я вижу по вашим глазам... Этот пафос хозяйствования был бы действительно смешон, особенно на казенной земле, с которой меня могут согнать, если бы я не прожил тяжелой, столько раз меня обманывавшей жизни.

И, косясь на вершины деревьев, Всеволод Адрианович выпрени исповедовался в глубоких огорчениях юности, в язвах и позоре души. Крейслер подумал, что и здесь так же, как на берегах Карасуни, много размышляют и охотно говорят о самом сокровенном.

-- Я нашел в себе силу оставить Петербург. Сермяжное простодушие народничества не увлекло меня. И потом, куда же в русской деревне девать диплом инженера! Я приехал в Степь, когда она была еще пустыней, песком и глиной, а за мной росла трава, росли злаки. У меня не могло быть детей, я оплодотворял мозгом дикие поля. Они только и жаждут, что приложения труда и ума. Здесь умеют ценить доброе в человеке и снисходительно относятся к его порокам: воздух напитан древнейшими культурами.

-- Я вчера сравнил все это, -- Крейслер широко повел рукой, -- с феодальным замком. Нет, это больше похоже на монастырь с собственными ликерами, с древними пергаментами...

-- Да, да. И обожествленный Платон, и воскресшие античные страсти, и философия... Все это было плодотворно в эпоху Возрождения, не потеряло ценности и теперь, повернувшись к нам какой-то другой ипостасью. Надо возделывать сад, а для того чтобы возделывать его хорошо, -- отрекись от жизни, или, еще лучше, пусть жизнь отречется от тебя. Это не аскетизм, а стремление к уединению. Я сказал это как-то Эффендиеву. Он мне ответил что-то о коллективе и его мощи, бесспорное и банальное. Впрочем, у него слишком художественное воображение и недостаточный словарь для отвлеченного спора. Посмотрите, вот это апельсиновое дерево. Их здесь несколько.

Невысокие, стройные деревца с яркими, словно окунутыми в воск, зелеными листьями выделялись среди желтоватой, только еще распутившейся зелени других растений.

-- Я вожусь с ними уже несколько лет и был бы счастлив, если бы удалось их приспособить к здешнему климату. Процвetaют и плодотнесут же они в Энзели и в Батуме. Я также счастлив, -- задумчиво продолжал он, -- когда вижу, как на моих глазах растет и приспособляется Али.

Крейслер вздохнул. Эти странные сочетания удручали его. И по правде говоря, он не мог уразуметь, как воплощаются в живое дело такие неестественные мысли.

-- Вы видели местные солончаки? -- спросил Траянов.

-- Еще бы не видел!

-- Но, должно быть, не успели полюбить. Странная земля. Никто добром не отзовется о ней: малярия, зной, безобразный лик пустыни. Все это мучит каждого из нас и странно привязывает. Дайте воды этой земле, --

она будет родить все. И эта щедрость, отзывчивость на тяжелый труд покоряет, затягивает. Я вот много лет порываюсь уйти отсюда и каждый раз откладываю на будущий год ради дикой тишины. А вот теперь прилепился к этому саду. Стар я, чтобы менять привязанности. Но пусть не мешают этой моей ревнивой любви.

Крейслер уезжал с ощущением душевной сытости, какую дает расширяющийся опыт.

#### IV

В то время как Михаил Михайлович, падая в необозримую пропасть сна, тщился, как тонущий, вспомнить протекший день, пережив и утренние поиски саранчовых месторождений, и страхи, и спасительную встречу, и корявый перст, который указал путь с персидской границы до странного управления мелиорацией, -- в то именно время Таня, забившись в угол, как бы загораживаясь обеденным столом от собеседника, искала в себе силы произнести то, что каждой женщине произнести трудно, но ей -- необходимо.

-- Я жалею, Онуфрий Ипатыч, что вы сегодня трезвы, как вы хвастались, и нельзя отнести за счет опьянения... Вы сейчас объяснились в любви. Мне это неприятно и зазорно.

Она вдруг зарыдала.

-- Вот... как... мучит судьба... Я не переживу, если с Мишей что случится. Вдруг ему угрожает опасность. И вы, -- тоже друг! Пользуетесь его отсутствием. Я места себе не нахожу, без ума, а вы высылаете пана Вильского, -- я ведь слыхала ваш разговор в передней, -- чтобы остаться вдвоем. Я не испугалась, бывала в переплетках пострашнее. Мне противно и жалко себя, -- меня пытаются опутать. И тяжело разочаровываться в человеке. И так страшно за Мишу.

Отповедь звучала высокомерно, как будто горе возвеличивало женщину в собственном мнении. Веремиенко вскочил со стула, метнулся словно обожженный, вскипел негодованием самым благородным, тем, что клокочет ключом бессвязных и трескучих речей, долженствующих заглушить голос женской догадки, что ловят, что надо держать ухо востро, -- ну тот самый голос, которым только что говорила Таня.

-- Татьяна Александровна, неужто же вы меня понимаете таким низким человеком? Господи, да я сам скорблю об отсутствии Михаила Михайловича! Но я не предаюсь панике, уверен, что он где-нибудь преспокойно заночевал. Лежит теперь, похрапывает, покуда вы тут слезы по нем льете. Вы попрекаете, -- я объясняюсь вам в любви. Да что же это такое? Что же, разве это преступление? Разве можно совладать с сердцем? Ведь мы каждый день видим друг друга. Я, я каждый день вижу вас. Так что же, вы не замечали ничего? Я сам чувствовал, что от меня жар идет, а глаза наливаются блеском. Если вы слепы, так другие видят. Я, конечно, -- вы сами должны понимать, -- с такой радости, что чужую жену без всякой взаимности люблю, по округе не бегал, не благовестил. Однако догадываются. Догадываются, потому что я на себя стал не похож, потому что я как одержимый, как бесноватый какой. Когда у тебя вместо сердца моток с иголками, вся твоя внутренность исколота, каждый вздох причиняет боль, -- нет уж дайте мне договорить! -- так что же с этим жить можно, не кричать? А если от других утаить нельзя, так от вас прятаться, намека вам не сказать и хоть небольшого себе облегчения не сделать? Безжалостны вы очень с вашей честностью и горды. Отказываете с гордостью, с тщеславием, отвергаете со злорадством. Довольно с меня и того, что мне нет никакой надежды... А ведь в одной капле той любви, которой вы любите мужа, я захлебнуться бы мог!.

Его губы темнели, как створаживающаяся кровь, рот зиял. Он опирался руками на стол, сдвигал его, зажимая Таню в угол. В ушах с шумом отдавалось каждое биение сердца, как будто он слишком резко переменял положение, и каждое колыханье этого шума несло к городу волны тоски и страстной досады. Руки липли к клеенке, отдирая присосанные пальцы, он готов был закричать от унижения и стыда. И вместе с тем он никогда не ведал такой чистой ясности ума. Так же отчетливо трелит соловей, обреченный песне, -- что за беда, что любовные излияния скатывались с языка Веремиенко как по жернову! Таня, не переставая, плакала, не в силах разомкнуть губ, они сплослись: молчание было единственной, самой крепкой защитой. Она не стыдилась своего многосложного горя, которое возносило ее недоступной, недостижимой для вождения.

-- Где же он? Где же он? -- спросила она наконец.

Повернула тронутый сумасшествием взгляд на Вермиенко и медленно, почти сухо произнесла:

-- Тот человек, который спасет Мишу и меня отсюда, из этого проклятого края, где нельзя быть ни на одну минуту спокойной за бесценную для тебя жизнь, тот, кто нам поможет устроиться спокойно, в довольстве, -- да я ему отдам душу. Пусть будет у нас спокойная зрелость, дети! -- воскликнула она со страданием. -- Их надо воспитывать, учить, а где здесь? Нищете конца-краю не видно, безлюдье, разор. Жить посулами я не могу. Да, я на все пойду, чтобы отблагодарить... Когда вспомню дочь в гробу и то, что с ней оторвалось, -- а она так похожа на него... -- последнее она выдохнула шепотом.

Он отшатнулся, упал на стул, как будто его взметнуло вихрем этого страстного желания.

-- Послезавтра я еду... -- Он облизнул губы. -- Послезавтра... -- Рот его зиял. -- Кроме командировки, у меня там есть разные делишки. -- Он дрожал. -- Я отказывался. Опасался. Осторожничал. Теперь посмотрю. Теперь другое дело. Теперь... Любовь, -- мне ее страшно, Татьяна Александровна. Такой, как ваша... Я пойду. Я подумаю.

-- Да, да, идите, -- подхватила она. -- Надо отдохнуть вам. У вас такой вид... нехороший... (Она ни разу не посмотрела на него). И мне будет легче одной. Степанида спит со мной в спальне. Идите.

Он завладел ее пальцами, целовал, повторяя:

-- Руки... руки... залог... обещание...

-- Идите! Идите! Идите!

Загрохотал щеколдой, дверью, со ступенек прогремел в ночь, побежал, оступился, кто-то поддержал его. Он закричал, узнавая: "Пан! Марья Ивановна!" Пан забормотал растерянно, словно приняв в объятия это стремительное тело, он от соприкосновения получил разряд его тревог. А она, позевывая, как будто всю жизнь жила в том времени, в том племени, где, кроме покоя, ничего не видали, лениво, с обдуманной степенностью, мямлила:

-- Что это вы опять редко заходите? Скарлатиной-то ведь не отговоришься. Да и после нее вы не раз зимою захаживали.

Вермиенко молчал. Пан вмещался.

-- Совсем отбился. Когда же это он у нас бывал, я что-то не припомню.

-- Он и меня иногда навещал. -- Она усмехнулась. -- Сейчас начнется гроза. Я, знаете, люблю южные грозы, перед ними не то чувствуешь любовное томление, не то выпить хочется. Ну, мы со стариком ни того ни другого не можем, -- вышли погулять.

Пан хихикнул.

Глотая звезды и сея молнии по ближней округе, туча, бродившая по горизонту весь вечер, теперь надвигалась с необыкновенной быстротой. Подымаясь сама, она подымала шум. Предшествовавший ей ветерок нес какую-то пыльную свежесть и больше всего напоминал о дальней поездке. Двор завода как будто узился, ежился. И, готовый ринуться под сернистые вспыхи молний, в рычании грома, под детские всхлипы дождя, сближал зашумевшие деревья.

-- Что творится в тополевой аллее! -- свежо и тревожно сказала Марья Ивановна. И, уже не в состоянии обезвредить накипевший в ней яд, торопливо, до дождя выбалтывала:

-- Для каждого мужчины каждая баба свой секрет носит. Иная откровенностью, иная тайной завлекает, большими чувствами, непомерными требованиями. А иная прижмет к белу телу, -- все забудешь. А на поверку, -- один узор для всех.

"Да, она подслушивала. Она подсматривала", -- терзался Онуфрий Ипатыч, расстегивая толстовку, подставляя грудь сыроватому веянию. "И с этой женщиной я спал!.. Если она сейчас не уймется, я все скажу пану".

По глазам ударило воспламенившейся сиреневой кистью, короткий резкий дребезжащий удар разразился вслед. И с тех пор не переставал, подымаясь до невероятной силы, бил в небе как бы огромный бубен. Широкое шуршанье впопыхах надвигалось на них.

-- Дождь! Дождь! -- вскрикивала Марья Ивановна как-то в нос, словно стена.

Она потащила за собой мужа, оставившего руку Вермеенко. Тьма заколыхала, зазвенела, зажурчала, молнии путались в нитях дождя, но и ливень не мог вымыть из ушей Онуфрия Ипатыча повизгивающего стенания.

#### Глава четвертая

I

Бывает, проснешься среди ночи или в бурый рассвет цвета волчьих взглядов, с изжогой, поднимающимся сердцебиением, пугающим до холодного пота, с таким вкусом во рту, словно питаешься отравой, подсовываемой недоброжелателями, -- и вот уже изжога, космическое бедствие, обрекает на вечные муки, -- стоит ли жить? Нет, так жить нельзя!

-- Так немудрено и сдохнуть!

Онуфрий Ипатыч переводил безнадежный взор с одного пятна на обоях на другое. Неутешительное убожество скверного номера грозило испакостить все воспоминания о прекрасных утрах, закатах, добраться до белоснежных шапок горных вершин, до моря, на которое он не мог смотреть без благодарной дрожи. Даже облик Тани Крейслер потухнул. Вот бы облегченье должно получиться: ну, чего в самом деле? Ну, дама, костлявая, нервная, без кровинки в лице! Ан не тут-то было, облегченья нет, похожая на ужас жалость к ней и любовь подступают, как икота. Кожа, кровь, кости, все отравлено похмельем. Поднимешь руку, дрожит.

Гостиница просыпалась. Коридоры зажили язвющим слух шумом: шлепали туфли, хлопали двери, звенела посуда, шипела вода в уборных. Заезжие персы-купцы, трое в одном номере, наперерыв звонили, вызывая номерного. Он скользящими прыжками летал по коридору. Сосед-грузин, весельчак и бабник, запиликал на кяманче, -- мудреном туземном инструменте, пронзительном и мелодическом, ощупью ловил мотив, пока не набрел на "Чайку", и целый час терзал ее. Это было так же смешно, как слушать псалтырь по-французски.

Воспоминания приходили в голову только стыдные, о таких происшествиях, где ему пришлось играть жалкую или унижительную роль. Татьяна Александровна издевалась над ним, что он влюблен в Марью Ивановну, не догадываясь, что ее насмешки жалили больше, чем обычные дружеские колкости. Неудачи преследовали его и в городе. Им прикрываются для своих махинаций, и никто, кроме него, не исполняет своих обязательств.

В дверь стукнули, шелестя, просунулось письмо.

Письмо было от Крейслера.

"Как идут дела, дорогой Онуфрий Ипатыч, и в Хлопкоме, и в Саранчовой организации? Мне кажется отсюда, что неважно. Но, как бы они ни шли, ваше долгое молчание тоже непростительно. Во всяком случае, вы должны нас держать в курсе дела, положение слишком серьезно. За месяц, как вы в командировке, я получил только одно письмо, в самом начале. Теперь вполне выяснилось, что хлопковая посевная кампания на три четверти проиграна. То, что мы под угрозой саранчи не авансировали хлопкоробов, сказалось: Я боюсь, что и осенью нам не удастся расконсервировать завод. Но этого вы не говорите, потому что нас вовсе лишат тогда денег. Впрочем, денег нет ни копейки, и как я управляюсь -- сам не знаю. Рабочие живут посулами. Настаивайте на присылке хотя бы небольшой суммы, -- ну пятисот миллиардов. Этим мы покрыли бы часть самой катастрофической задолженности, главным образом по жалованью.

Но самое важное, конечно, саранча. Здесь действительно все обстоит ужасающе: нет ничего, никакого движения, как будто никакой Степи и никакой саранчи не существует. Что же делается в Саранчовой организации? Там сидят просто преступники. Мне удалось привлечь через Советы довольно много добровольцев, но без питания, без орудий, мало лошадей. Кроме того, вы не хуже меня знаете, что с таким количеством саранчи бороться одними механическими мерами это то же, что черпать море ковшом. До нас дошла по газетам беседа с чрезвычайным уполномоченным. Он хвалится, что заготовлено довольно большое

количество ядов, аппаратов для сжигания саранчи, которые якобы одобрены специалистами, огромное количество керосина, продуктов питания, -- где же все это? Что же, хваленые специалисты не знают, что их за такое промедление, -- за одно это, -- можно отдать под суд и расстрелять. Ваше дело, -- где возможно двигать, напоминать. Вы -- посол угрожаемого района.

Вся округа, верст пятнадцать по Карасуни, превратилась в военный лагерь. Меня лично беспокоят беженцы: куда их кормят, куда они окружены местным населением, перемешаны с ним, их можно держать в узде. Но они на наш полторафунтовый паек прут сотнями, хлеба осталось на неделю. А что потом?

Эффендиев выходит из себя. Пан Вильский прекрасно ведет раздачу, привык кормить детей. Но что будет, если мы не будем кормить? Голодные беженцы разнесут все, потому что это отчаявшиеся озверелые люди. Выезжайте как можно скорей. Телеграфируйте, когда выедете. Иначе никто не может нести ответственность за последствия. Писать больше не могу, перо вываливается от усталости.

Ваш М. Крейслер.

15 мая 1922 года.

Татьяна Александровна вам кланяется.

Она поправилась. Приступы значительно реже. Но худа, жалка. И подумайте, что я ей дал? Эх, иногда вам позавидуешь, -- свободный человек, ни перед кем не несете ответственности, одна голова не бедна".

## II

Наивность, как и хорошее обоняние, -- черты первобытные. Природа отпустила их Онуфрию Ипатычу в той мере, которая помогла ему не потеряться в шумном, суматошном городе, изнывавшем от зноя, от ветров, от близости моря, от падения нефтедобычи. От Тер-Погосова пахло вспотевшей лошадей, он был туповат, безжалостен, пронизателен и мстителен. От Муханова -- зубным эликсиром и аммиаком. Он легко утомлялся, отличался малодушием и похотными мечтами и удивлял неизвестно когда приобретенными знаниями по энтомологии. За них-то его и привезли из Москвы и поставили техническим руководителем всего противосаранчового дела в республике. От председателя Саранчовой организации несло запахом свежей типографской краски. Если с ним долго говорить, на языке оставался вкус сливочного масла. Его звали Александр Филиппович Величко, подчиненные за глаза именовали его Александром Македонским. Он сам про себя сообщал, что только на полтора вершка ниже Петра Великого. Его белокурой бородкой и выдающимся ростом любовался весь город, из встречных молодых армянок -- каждая третья вождела. (Этим он тоже хвастнул перед Евгенией Валериановной, женой Муханова.) Тер-Погосов заметил в нем необыкновенную любовь к благообразию служебного уклада, и совместными усилиями Величко и Муханова пленумы Саранчовой организации приобрели особую значительность, ходили на заседания правительства. У Вермиенко звенело в ушах от блестящих ложечек в чайных стаканах, от тихого шелеста бумаг, от красного сукна, мягких чувяков курьера, от пятиминутных выступлений по докладу, сделанному Мухановым. Он задыхался и потел, только что оборвали его реплику, в которой он попытался отдельно поторопить отправку химприпасов, хлеба, фуража и аппаратуры в Карасунский район.

-- Позвольте, товарищ, это частный вопрос, -- сказал председатель, не повысив тона и в нос.

-- Я дам ответ в заключительном слове, -- поддержал Муханов.

Это уже было прямым предательством и вызовом не Онуфрию Ипатычу, которого он считал сообщником, а обстоятельствам, ропоту мест, который пробивался в письме Крейслера. Ученый энтомолог давеча побледнел, читая его, закусил нижнюю губу фасетками вставных зубов. А вот теперь, чуть отступив от стола, он, часто запинаясь и мыча, картавым деланным фальцетом отводил упреки возражавших. У каждого из заседавших возникало впечатление о твердости, равномерности работы, медлительность возмещалась четкостью, и только один из них, худой и зловеще кашлявший юноша, представитель незначительного хлебозаготовительного учреждения, скалил насмешливые и злые клыки. Муханов закончил непререкаемым утверждением, что противосаранчовая экспедиция через три дня двинется морем в угрожаемые местности. Председатель объявил заседание закрытым. Загремели стульями. Чохоточный юноша подбежал к Онуфрию

Ипатычу.

-- С удивительным удовольствием я выкатываюсь из этого миллионерского особняка! Вы здорово было начали. Раз местный представитель, нужно было крепче крыть этих заседателей, а вы что-то замямлили...

Веремеенко мучительно покраснел, почувствовал, что некуда девать глаза, и ничего не нашелся ответить. Собеседник презрительно усмехнулся. Муханов позвал Онуфрия Ипатыча.

-- Сейчас мы ликвидируем историю с Крейслером. Я почти уломал Тер-Погосова. Он ведь приготовил приказ о снятии его с работы.

-- Хорошо сделал, что сдался, -- я бы пошел на все.

-- Ого вы какой! Что ж, может быть, это и лучше. В трудный час не выдадите.

Муханов пожал плечами и отвернулся. Мимо, благосклонно раскланиваясь, шествовал Величко.

-- Очень, очень рад, -- бормотал он, -- я доложу Совнаркому. В республиканском масштабе мы сделали все. Наши достижения могут быть образцом для всей Федерации.

Сутулясь, покусывая губы, желтый от раздражения, -- с некоторых пор у него стали дрожать белки, -- подошел Тер-Погосов.

-- Болван! Доложит Совнаркому! Сам висит на ниточке. Его не сняли только потому, что я от лица спецов заявил: уход Величко сорвет работу. Сейчас важнее всего не терять нас, спокойствие, выдержка.

Рукав у него был замазан мелом. Веремеенко стало не по себе. Тер-Погосов всегда так тщательно чистился, причесывался, сверкал ботинками.

-- Вот и Крейслера нужно оставить на месте.

Тер-Погосов вскинул брови, широко открыл несвежие, как будто закопченные белки, грубо огрызнулся:

-- Ты думаешь! Смотри, этот немец выйдет нам боком. Якши, делаю вам с Анатолием уступку. Да мне сейчас не до этого рыжего бугая. Едем на склад, Анатолий, у меня машина. В самом деле надо торопиться.

-- А я в мастерские, -- зачем-то сообщил Веремеенко.

-- Хорошо. Скажи Гуриевскому, чтобы гнал. Пусть завтра же сдает все готовые сжигатели. Взял моду задерживать да орать до хрипоты.

Город слепнул от света, город готов был расползтись от зноя, начиная с тротуаров, с размягченного асфальта. Тяжелый воздух, словно накопила огромная лампа, лип ко рту, к носу, как будто не пробиваясь в легкие. Веремеенко взял фаэтон и около часа качался на тошнотворных рессорах, поднимаясь в гору. Он одолевал подъем с каждым поворотом, и уже давно показалось поверх домов море, вплотную подступившее к частоколу нефтяных вышек на грязных песках промыслов. И вышки, и пески, и даже грузный дым, и нижние кварталы города удалялись от Веремеенко и опускались, а море возвышалось и росло, завоеывая у горизонта новые пяди белого неба, и готовилось залить берег, чтобы зеленоватой массой подступить к самым глазам растроганного Онуфрия Ипатыча. Оттуда иногда настигала свежесть, он жадно ловил ее прокуренным дыханием, надеясь обмануть сосущую тоску по опохмелению. Туземные предместья, где он ехал, строились как аулы: узкие улицы, террасы, глинобитные стены. Древняя жизнь Востока, вытесненная на эти косогоры, курилась многообразными, душными, нездоровыми испарениями. "Я люблю эту воньцу", -- говаривал Гуриевский. Гуриевский считался владельцем мастерской, где изготавливались аппараты-сжигатели, недавно усовершенствованные, вернее, упрощенные для выделки Мухановым. Во всяком случае, Гуриевский был фактическим директором предприятия. У него в конторе совершались все секретные сделки и происходили самые потаенные совещания. Астраханский еврей, он больше походил на краснощекого калмыка, с широким плоским лицом, ражий как грузчик. Лет пятнадцать назад, потеряв в драке глаз, он, когда его стыдили, отводил здоровый и хитрый в сторону, искусственным же вяло упирался в обличителя. С той же потери превратился в задиру, сквернословя, болтуна. О самых темных делах разглагольствовал во всеулышание, веря в неизменно благоприятную судьбу, от которой, -- полагал он, -- откупился несчастием в юности. "А, хозяева пришли! -- кричал он, когда к нему навевывались Тер-Погосов и Муханов. -- Красные купцы! Ну, когда сядем в Чеку?" На него шикали, он наглел. Тер-Погосов матерно

ругался. Рабочих Гуриевский спаивал, считал верными друзьями. Водил подозрительных девочек, широко предлагал приятелям. Сторож Степан, услужливый, как банщик, сладко вздыхающий старикашка, зудел: "Все пьяны, -- чисто немецкие солдаты на окопы прут, как в газетках сообщалось. Или чисто пасха..."

Мастерская помещалась в большом, плохо приспособленном сарае, -- там когда-то был Нобелевский гараж, -- окруженный стеной из дикого камня. Веремиенко прошел в двухкомнатный флигелек у самых ворот с надписью:

"КОНТОРА".

Гуриевский пил красное вино с поставщиками-персами в длинных сюртуках, в манишках без воротничков и в черных шапочках.

-- А, Ипатыч! Ну, брат, считай убытки! Сейчас приезжала Муханова за деньгами. Прощальный вечер, говорит, хочет всех удивить. Я дал, но сказал: "Сорить деньгами нечего. Помните, дело общее". Она сказала, что все за счет Тер-Погосова. Вот жмот. За копейку душу вымотает, а вечером с тобой же пропьет на Абраше.

Веремиенко покосился на купцов.

-- Ни хрена не понимают по-русски. Да и не из Коминтерна, свои.

Онуфрий Ипатыч выпил вина, повеселел. Ему уже не казалась вера Гуриевского в свою звезду бессмысленным и шумливым бахвальством.

-- Должно быть, с похмелья, я нынче раскис чего-то.

Хотелось пожаловаться этому толстому, добродушному, себе на уме, крикуну, что устал от кутежей, что по ночам подбрасывают толчки тревоги, но поглядел в фарфоровый неподвижный глаз и только кашлянул. Персы встали, подали одинаково холодные, потные руки и удалились.

-- Бухбиндер-то землю роет! Телеграфировал, что нашел, представь себе, парижскую зелень в нашем уездном городе, как его... Обдурил упродкома, купил за бесценно. Это же чудо! Надо мужикам хоть для отвода глаз показать, что привезли какую-то отраву. Ну, зарвались и Муханов и армянин. Нельзя же пароход грузить бочками с песком.

Онуфрий Ипатыч порывался остановить его: могут зайти! -- но сияла красная рожа, голая толстая шея безмятежно потела, -- смешно в самом деле трусить! Подогреть бы эту уверенность, и Веремиенко попросил послать за коньяком.

-- Коньяк ша! Нынче обедаем все вместе, деловой разговор. Ты мне нужен, у нас интерес один. -- Гуриевский наклонился через стол, здоровый глаз вертелся с необыкновенной живостью и поблескивал злобой. -- Напьешься, будешь мычать, а тут надо брать за горло, иначе получишь плешь. Нет уж, мычи на мухановской вечеринке. Остались дни и часы. Пора рассчитывать. Смотреть, как Тер-Погосов на туманах и на долларах играет нашими деньгами, ша! Хватит!

Он корчил кислую гримасу, румяные щеки зыбились складками, но бодро и сухо теплилось невозмутимое фарфоровое око. Распаляясь, он долго еще грозил, матерился, обещал не валять больше дурака, тараторил до сумерек. Окно, посерев, бросало на его лицо мертвенно-успокоительный, жидкий свет, и хотя все еще он продолжал бушевать, выражение глаз его как-то уравнивалось, они стали отличаться друг от друга только подвижностью. Он раза два уходил, Веремиенко усомнился -- не менять ли горло, так свежо, так неумоимо звучал его голос.

-- Отвечать первому мне. "Ты владелец мастерской?" -- Я. "Счета Иванова подписывал?" -- Подписывал.

Онуфрий Ипатыч внимал и не верил, что когда-то кто-нибудь будет допрашивать. Утренние тревоги Тер-Погосова и разговоры Гуриевского он считал торгом, где каждый набивал себе цену.

Уж пришла вторая смена. Мастер-армянин, битый час коверкая слова, скучно настаивал перед Гуриевским:

-- Это так делить нелизя. Рабочие горло рвут. Так мы тальки товар портим. Это какое дело? Меди не покупаем, так жесть -- олово заменит.

-- Заткнись, Хачатурьянц. Что твои рабочие понимают. Вот мы сейчас спросим инженера. Онуфрий Ипатыч, как вы полагаете?

Веремеенко подмигивал и вполпьяна мычал, что аппараты свое давление выдержат. Хачатурьянц выпил вина, плюнул и ушел. На улицах, пробивая фиолетовую муть, вспыхнули огни. В распахнутые ворота виделся внизу берег моря, очерченный пунктиром портовых фонарей. Бесконечная выпуклая гладь, светло отделившаяся от темной земли, словно по проколу, снова взглянула на Онуфрия Ипатыча.

### III

Тогда-то Тер-Погосов... В полуоткрытое окно было слышно, как Гуриевский переругивался, мешая языки, с Хачатурьянцем. Веремеенко несколько мгновений прислушивался к автомобильному шуму. Неистово рычала сирена, разгоняя ребятишек на узких мостовых, мотор трещал на первой скорости, откуда-то снизу два светлых меча прошлись по створкам ворот, и машина въехала во двор.

-- Повернешь, поедем обратно, -- приказал Тер-Погосов шоферу, -- Федор Арнольдович! -- крикнул он Гуриевскому, входя в контору. -- Вино лакаете? -- спросил брюзгливо.

Веремеенко не успел ответить. Ворвался Гуриевский.

-- С опозданием к обеду-то!

-- Какой тут обед, мы на минуту. Анатолий Борисович даже не вылез. Некогда, Федор Арнольдович, некогда, дорогой.

Гуриевский побагровел, как будто все красное вино, смешанное с бешенством, -- чем он потчевал Онуфрия Ипатыча, -- хлынуло теперь к щекам.

-- Рассчитываться пора, Георгий Романович!

Тер-Погосов передернул плечами, его непромокаемое пальто зашуршало, как змеиная кожа.

-- Что? Что за спешка? Рабочим платите, за материалы платите.

-- Чем плачу! -- Гуриевский как-то взвизгнул, сорвал, видно, голос на подготовке. -- Чем плачу? -- И с плачевной сиплотой ответил: -- Своими кровными.

С этого мгновения Веремеенко понял: Тер-Погосова боятся все. До него не доберешься, он защищен, как корой, своими непроходимыми волосами. Гуриевский, мечась по комнате, походил на таракана в тазу, -- вот-вот выберется, но стенки круты, скользки, и, сорвавшись, валится на дно. Он тяжело сопел. Тер-Погосов, не садясь, следил за тараканьим исступлением, -- непроницаем.

-- Я кругом должен. Сколько доложил своих! Разорен. Вот и Онуфрий подтвердит, -- при нем тут два персюка грозили мне горло перервать.

Здесь бы Онуфрию Ипатычу и вмешаться. Но вязкая тина облепила его: это было безразличье к участи крикуна, отвращение к его слабости, и Веремеенко молчал. Мгновения тишины густели, как сумерки. Тер-Погосов бегло повернулся к нему, прищурился, чуть-чуть наклонил голову. Покорная усмешка замкнула рот Онуфрия Ипатыча. Гуриевский заметил это.

-- Подмахиваешь, тварь купленная, -- прошипел он.

Он опирался на стол руками, как будто невидимая тяжесть придавила его.

-- Бросьте бесноваться! -- приказал, торжествуя, Тер-Погосов. -- Петрушку играете, а тут все на острие ножа. Может быть, вам придется оправдываться тем, что я задерживал деньги, -- все валите на меня!

Гуриевский побледнел, мешковато сползая на стул. Веремеенко никак не подозревал, чтобы этот мужчина так скоро сдал и пришибленно скулил:

-- Что это значит, что за туман напускаете?..

-- А то значит, что вокруг нас вьются и добираются. И я, только я, еще в силах спасти всех. Я нынче отвел удар от Величко. Вы думаете, это ничего не стоит, даром делают нужные люди... Не путайтесь в ногах. Ну, едем, Онуфрий Ипатыч, -- коротко бросил он и вышел, уверенный, что Веремеенко последует.

Проходя под открытым окном, не заботясь, что Гуриевский слышит, балагурил:

-- Евгения Валерьяновна за вами прямо скучает.

Муханов дремал или делал вид, что дремал, полулежа в каретке. Дверца открылась, -- вздрогнул, улыбнулся Онуфрию Ипатычу (он всегда помнил, что улыбаться надо нежно), промолвил расслабленно:

-- Заснул и видел во сне что-то тягостное. Как мило, что вы разбудили меня. По Фрейд, всякий сон похож на загадочную картинку с вопросом: где смерть?

Тер-Погосов крепко сел на зазвеневшую пружинами подушку.

-- Зачем пессимизм! Надо о жизни заботиться. -- И произнес как будто для себя: -- Всегда даже самого храброго еврея можно напугать. А тогда из него веревки вей. -- И также для себя, уединенно и оскорбительно рассмеялся.

Это должно было обозначать, что Георгий Романович доверяет тем, кто имеет удовольствие сидеть с ним в карете "Бенца" и спускаться на подвывающих тормозах узкими вонючими улицами к главным кварталам города и покупать Абрау-Дюрсо.

#### IV

Худое, бритое, в складках лицо Муханова преследовало Веремеенко, как обожравшегося -- воспоминание о пище. Куда ни отведешь взгляд, -- всюду порочные морщины, бледность, спокойная неподвижность среди искаженных опьянением и возбуждением багровых ликов. Длинный, в полувоенном френче из грубого сукна, он чем-то напоминал пилу. Угощал витиевато и старомодно. После голодной, тесной Москвы, видно, никак не мог привыкнуть к квартире в три комнаты, к просторной столовой, к обилию вина. Он уже два раза успел сообщить своей соседке, розовой блондинке со слишком влажными губами, что его прадед был приятель Пушкина. Оба раза он вспомнил об этом, передавая кому-то пятифунтовую банку знаменитой астаринской икры.

Евгения Валериановна, рослая, очень плотная, темноволосая женщина в смуглом загаре, прельстила его круглотою, хорошим аппетитом и почти мужской физической силой. Она была под стать соседу справа, Величко, который благосклонно попивал белое вино, и слушатели внимали -- разговаривал многозначительно.

-- Перед истинным коммунистом, не по одному партбилету, разворачиваются сложнейшие личные проблемы. Я, например, задумываюсь, и задумываюсь до боли, как сочетать вежливость и тонкость -- с пролетарской простотой? И, сжигая корабли, оставлять ли эстетику?

-- Оставлять, оставлять, -- щебетнула Евгения Валерьяновна вовсе ей не свойственным тоном. -- Любовь к красоте у революционера, -- чудно!

Величко приосанился и выводил тенорком:

-- Как это мне близко. Я тоскую на работе, которую веду теперь. Земорганы -- это такая проза. Я никого не обижаю, товарищи? Здесь агрономы...

-- Пожалуйста, -- скучливо проворчал Тер-Погосов.

-- Я бы с удовольствием, конечно, пошел по издательству, по просвещению, на культработу какую-нибудь... Но для меня это мелко, партия не отпустит меня.

Евгения Валерьяновна попыталась вернуть: "Вас так ценят..." Он поднял взор к потолку, не зная, на ком его остановить. Его всегда удивляла компания у Муханова: какие-то бесцветные молодые люди из бухгалтерии Саранчовой организации, из приемочно-оценочной комиссии, машинисточки, -- спецы решительно опускались. Он даже не помнил фамилии этих своих подчиненных, по небрежности и неразборчивости хозяев ставших его собутыльниками. Он достал часы, взглянул, поднялся, пошатываясь.

-- Товарищи, неотложные государственные дела призывают меня к работе. Зубы письменного стола держат меня непрерывно. Но, с другой стороны, я не имею права роптать. Я на гребне нового, я связал свою судьбу с революцией, и чем бы я был без нее? -- спрашиваю себя. В лучшем случае был бы учителем. Впрочем, так и весь пролетариат, разбивший свои цепи... И вот от имени пролетариата, взирающего с

надеждой на противосаранчовую экспедицию, организованную нами, я желаю вам, товарищи, успеха, победы, стройными колоннами вы идите и убейте опасность.

Он медленно сел. Все глаза следили за тем, как он опускался. Мгновенное замешательство, -- надо кому-нибудь отвечать. Муханов под столом искал ногу Тер-Погосова. Евгения Валерьяновна подала голос, сквозь томность пробивалась тревога:

-- Георгий Романович, прошу вас!

-- В самом деле, -- поддержал Муханов. -- Георгий, тебе и карты в руки, ты адвокат.

-- Позвольте, надо же выпить Абраши! -- закричал Веремиенко.

Хозяйка поблагодарила его взглядом.

-- Милый, вы молодец! Шампанское под краном на кухне.

Покуда он бегал, пускал пробки в потолок (блондинка повизгивала), разливал, -- взглядами и шепотом успели уломать Тер-Погосова. Величко ничего не замечал. Оратор встал и поднял бокал.

-- Александр Филиппович говорил коротко, директивно, дал военный приказ. Что мы должны ответить? Клянемся, исполним. Мы ответим, как Наполеону: "Старая гвардия умирает, но не сдается".

Веремиенко привык спасать положение.

-- Ура! -- закричал он.

Блондинка несмело поддержала его. Муханов кашлянул в тон, два незаметных молодых человека опоздали, скромно опустили глаза в тарелку.

-- Я не бонапартист, -- сухо заметил Величко и стал прощаться.

Хозяева вышли провожать. В комнате, как будто от сквозняка, посвежело, посветлело. Веремиенко выплеснул остатки шампанского, налил полстакана коньяку, выпил, предложил другим. В передней весело щебетали две самые миленькие машинисточки Саранчовой организации, Ната и Ася: "Да у вас даже не заперто, господи! -- Осеклись: Вы уже уезжаете, Александр Филиппович? Ах, как жалко!" Гулко хлопнула дверь парадного.

Через четверть часа комнату шатало, несло в дыму кутежа, не выходявшем в открытые окна, за которыми млеял город. Комнату раздавало тяжко шлепающими взрывами веселья, стол походил на разбитый снарядами продуктовый склад. Молодые люди оказались мастера кричать: "Аллаверды к вам! Якши-ол!" Отдавало духаном. Тер-Погосов слал вслед Величко тягучие, жалящие слова:

-- До чего они медленно учатся, даже удивительно. Неужели можно эту саманную кучу, поднятую вихрем, назначать на какой-нибудь пост! Видно же, что он из соломы. Он же протыкается палкой насквозь. Все гибнет, государство разваливается, промышленность, спасти ничего нельзя, себя надо вывозить, а он головой у потолка и, словно там другой воздух, несет хвастливую околесицу. Нет, придет хозяин и спросит: "Вот этим вы и служили?"

Веремиенко с пьяной ловкостью подпайвал дам, мешал портвейн с коньяком, те не жеманились. Едва поворачивая язык, Евгения Валерьяновна звала его, крича, что ей надоели все, что она жаждет такой же любви, какая произрастает только на берегах Карасуни. Веремиенко хохотал, посматривая на кусавшего губы Муханова. Анатолий Борисович обнаружил слежку и откровенно занялся блондинкой. Тер-Погосов вышел с Натой и одним из молодых людей в спальню. Евгения Валерьяновна болтала не совсем понятные вещи о путанице полов, что она со всеми перехахалилась назло мужу. Распушенность эта, привезенная из Москвы, из нэповских бесчинств, спиртовым пламенем освещавших лихорадочную остановку между только что покинутым Крымом и будущим Нарымом, жаргон расплзающихся браков, страстишки, похоть, затемнившая существование, -- все это перепугало Онуфрия Ипатыча до того, что он уверовал в Мухановых как в последнюю утонченность. Как далеки Бухбиндеровы попойки, -- с пьяной отзывчивостью, со слезами, -- никак не окрашивавшие жизнь, лишь прерывавшие ее на несколько часов. Бухбиндеровы опьянения проходили, оставляя ломоту в голове, их никто не мечтал повторить, они устраивались сами собой. Здесь же все делалось для бесстыдных вечеров, все подгонялось, чтобы свести блондинку с Мухановым, Асю -- с

Тер-Погосовым, по возможности помешать создать легкодоступную муку и победы, а самое главное -- уничтожить всякое сходство с тем, что обычно случается днем, за стенами этих комнат.

-- Ухаживайте за мной, Веремиенко! Учитесь, как другие это делают. И имейте в виду, муж мне не может изменить, а я могу.

Веремиенко чуть не через день уступал Анатолию Борисовичу номер для свиданий то с блондинкой, то с Асей, то с Натой. Но он удержался сообщить об этом: показалось бессмысленным и унижительным разоблачать заблуждения этих четырех с лишком пудов самодовольного женского мяса, и он неожиданно для себя провозгласил:

-- Евгения Валерьяновна предлагает кататься на лодке.

Через несколько минут их мягко мотало в кожаных скорлупках фаэтонов. Город источал ароматы исступленной южной весны. Что-то болезненное веяло в этой смеси запахов цветов, асфальта, соли. Женщины смеялись счастливо, словно нашли самое важное, -- то, что раньше ускользало от понимания.

Из переднего фаэтона выкрикивались бессвязные восклицания: "Эй, лёдка-чи!.. Якши!.. Бале!.." Споры: "Здесь прекрасные шляпки! -- Нет, там! -- Я постоянно езжу с той пристани!"

Набережная всеми своими огнями бросалась в черное зеркало моря. Рейд был тих и бездыханен. Моторная лодка вступала в беззвучное царство тьмы и воды, оставляя позади себя гулкий треск мотора, волоча за собой, как бесконечный шлейф, огни города. Пламя стеариновой свечи, колебавшееся на корме, сносило туда же, к пристани. Величественный покой укротил катающихся, одна из девушек все пыталась запеть: "По морям, морям...", никто не подтягивал. Сидели на просторных скамейках, как незнакомые. Евгения Валерьяновна взяла за руку Веремиенко.

-- Вы очень не любите моего мужа?

Сорвала с головы шелковый кавказский шарф, оросила за борт.

-- Стойте! -- закричала мотористу.

Лодка поплыла тихо. Никто ничего не понимал. Белое пятно на воде, как сгусток пены, расплывалось, темнело, удаляясь.

-- Внимание, граждане! -- восклицала Евгения Валерьяновна, встав на скамейку. -- Шарф чуть видно, мы отплыли саженой на пятьдесят. Онуфрий Ипатыч поплывет за ним, чтобы показать мужское благородство, силу, неиспорченность. Смотри, Анатолий!

Онуфрий Ипатыч как был, в сапогах, в парусиновых доспехах, тяжело рухнул в воду, пропал, словно в баклаге с дегтем. Девуцы визжали. Лодка накренилась в ту сторону, куда только что прыгнул Веремиенко. Муханов спросил встревоженно-гневно:

-- Да плавать-то он умеет?

Никто не отвечал. Никто не отвечал, минуты наполнялись непроглядным и, как казалось, совершенно беспомощным барахтаньем пловца, то удалявшегося, то приближавшегося.

-- Бери, Мамед весла, -- сухо приказал моторист помощнику, -- а то накормим гражданином рыбу.

Лодка неуклюже поворачивалась. Молодые люди зажигали спички сразу по нескольку штук. Толстое пламя вспыхивало, слепило, деготь подступал к самым уключинам.

-- Почему так низко сидим на воде? -- хрипло спросил кто-то.

Спички, падая, шипели. Деготь подступал к горлу.

-- Онуфрий Ипатыч! -- в отчаянии неузнаваемым голосом завопил Муханов.

-- Я здесь! -- ответила черная вода баском Веремиенко. Кто-то подавал руку, лодка качалась, кто-то отфыркивался, кто-то радостно сравнивал влезавшего с моржом, морж отзывался, держа в высоко поднятой лапе мокрую тряпку: "Едва настиг, уже тонула". С него текло на белые платья дам. Муханов ничего этого не видал, не слышал, отдаваясь блаженной, одинокой радости: пронесло!

Всасывая силу от завертевшегося диска, захлопал мотор. Совершенно пьяный Веремиенко хвастался женщинам, что он-де на Каспии вырос, если захочет, так на себе вытащит из воды кого угодно. И, так бахвалясь, обнял за талию жену Муханова.

-- Он здорово плавает! -- сказал Тер-Погосов. -- Это может пригодиться.

## Глава пятая

I

-- Крепка?

-- Развалина.

-- Эй, капитан! Вы хорошо знаете фарватер?

-- Не раз ходил туда в мирное время. Тогда знал и море, и устье.

-- А теперь?

-- По старым картам, еще "Ропита".

-- У вас нет никаких сомнений? С нами очень серьезный груз. Неужели не было баржи покрепче?

-- Да что вы, товарищ Муханов, все каркаете! Слово из Америки приехали. У нас тут красные хозяйничали, Центрокаспий хозяйничал, мусаватисты хозяйничали, англичане воевали на наших кораблях, -- так вы хотите иметь какие-то новинки прямо из доков! С четырнадцатого года суда не имели приличного ремонта, а вы все ладите свое.

-- Онуфрий Ипатыч, вы посмотрели баржу? Как ваше мнение?

-- Развалина. А капитан с нами разговаривать не хочет, ушел.

-- Черт с ним! Сегодня же переговорю с Величко. Надо оградить себя от неожиданностей. У большевиков за все можно попасть... Я ученый-энтомолог, а при несчастье все равно могут спросить: "Почему вы на баржу не обратили внимания?"

-- Анатолий Борисович, я, конечно, понимаю, что задержки избежать было нельзя, но если даже будем задерживать и перегружаться, нас за одну эту промашку под суд отдать мало.

-- Вы мне письма Крейсера не цитируйте! Я их читал и все угрозы знаю из первоисточника. Вам пить вредно: забываете все на свете. Вчера вон какую глупость удрали! Вы бы потонули и нас всех на дно потянули.

-- А я что же лажу? Пора сматываться поскорей, да без шума.

-- Вот, вот. Пойдемте-ка с пристани. Мне все кажется, что даже простые амбалы и те осведомители Чеки. Наши разговоры давно утратили прелесть легальности. Как все изменилось. Давно ли вы приехали к нам наивным хохлом?

Они вышли на площадь, окруженную складами, пакгаузами, кипевшую деловой суетой порта. Амбалы с коричневыми толстыми ногами легкой походкой таскали тяжелые мешки с рисом, покрикивали: "Хабардар!" -- и устало скалили зубы. Солнце, не стеля теней, растапливало самые тайные соки живого и вещей: крепко и душно пованивало кожами, потом, рогожей, мочой, нефтью, солью.

-- Да, втянулись вы в наше дело, запутались. А ведь как вольно пахнет трудом.

Веремиенко ухмыльнулся со злостью. Муханов продолжал, неестественно горячась:

-- Какое это ужасное чувство -- ощущать себя в подполье. Бр... Никогда не занялся бы политикой. Но жизнь, реальная, простая жизнь, быток, человеческая страсть, как это все над нами хозяйничает. Женщина, крикливая, жадная, похотливая, -- нельзя верить ни одному слову, -- возьмет тебя и поведет куда хочет, предаст за малейшую выгоду. Да какое там -- выгоду, за тень наслаждения, за то, чтоб иметь возможность купить какую-нибудь тряпку. Изглумится, если увидит, что тебе это больно, -- как, знаете, кошка, которая мучит мышь, чтобы скисшая от страха кровь была вкуснее.

На набережной, сплошь асфальтированной, грелись пыльные чахлые деревья из вечнозеленых. Широкий вид на гавань открывался отсюда. В ней было что-то жестяное: от неподвижности водной глади, залитой радужными разводами масел и нефти, от отражений немногочисленных пароходов, пришвартованных к пристаням, -- раскраска судов казалась резкой и тяжелой. Муханов предложил сесть и говорил безостановочно, не в состоянии пресечь рвущиеся признания. Веремеенко, слушая, отшатывался, как будто слишком наклонился над темным, заросшим колодцем, который притягивает, -- кружится голова.

-- Она засосет, втянет в гнусность, при случае этим же попрекнет. Но вот она совершенно, как говорится, разлюбила, предварительно целые недели ругая, оплевывая, стирая малейшие следы, оставшиеся после тебя у нее на душе. Ну, кажется, хоть и не своей волей, а стал свободен. Новая мила хоть тем, что не так распоясывается, помягче, посдержанней. Так не тут-то было. Возможность насладиться и этим убогим удовольствием отнята: опять вмешивается природа, она вспоминает твою обиду, жжет оскорбленным самолюбием, и ты еще сильнее сквозь ленивые содрогания с другой начинаешь желать ту, от которой только что освободился. Старые прелести кажутся по-новому приманчивыми. Знакомая влажность, запах, телодвижения, все это становится снова необходимым. И идешь, как пес по следу... И снова слезами, мольбами, унижениями, которыми, в сущности, наслаждаешься, клеишь общую жизнь. Через некоторое время она разбивается, давая ложную уверенность, что вот именно это -- "последний раз". Но ты как приводным ремнем навсегда втянут в верчение супружества, с тошнотой, с зеленью в лице видишь, как тебя унизили, сломали. А тут уж недалеко окунуться в подлость, в преступление, потому что "надо же жить! Не могу же я ходить голой! Не зарабатываешь, не женись!". В злобе на весь свет за свою слабыхарактерность готов отыгаться на чем попало...

Некоторые слова, в подражанье слышанному, он произносил с брезгливой кривизной в лице, с деланными жестами. Ему, видно, не сиделось.

-- Знаете что, пойдете в духан, -- тут недалеко брат Тер-Погосова содержит. Бездарный брат гения.

В кабачке сыроватая темнота полуподвала смешивалась с тонкими, отдающими ребяческой пленкой испарениями кислого молока, вина, душистых травок. Угрюмый, неразговорчивый духанщик цвета шепталы действительно походил на Георгия Романовича. Муханов едва с ним поздоровался, выпил вина и, по-прежнему отрывисто, не смягчаясь, коротким дыханием выбрасывал:

-- После революции, после пайкового хлеба, женщины как-то особенно возжелали всего этого. (Он показал на прилавок, где разлеталась белесая, в зеленых травянистых усах поросычья голова.) Изо дня в день хлеба в московских столовках суп из "карих глазок", мы думали, что поросенок -- пища богов. Но при военном коммунизме было одно, что заставляло видеть мир по-другому и после чего новая экономическая политика всякому порядочному человеку должна казаться отвратной: это бесплатность, святая даровщина. Женщины плохо осваивались с этим принципом и теперь словно наверстывают потерянное. Никогда не было среди них такой глубокой продажности, коры расчета: на время, на ночь, ни одного лишнего раза, -- платите.

Онуфрий Ипатыч стыдился взглянуть в лицо собеседнику. Мертвый гнет давил плечи. И хотя знал, что Муханов всегда осмотрителен с вином, все же перебил его тягостную исповедь напоминанием, что пить много не следует, и к уполномоченному надо, и расчеты кончать.

-- В деле столько народа, что и запутаться можно. Тут одного обидишь, к стенке встанешь. Да и не согласен я с вами, со всей вашей философией. Не все они такие, как вы рассказываете. Есть и чистые, и преданные, и в беде не выдадут, и товарищи есть.

-- Есть, да не про нашу честь. Вы не обижайтесь, Онуфрий Ипатыч, а вы наш человек, помятый, с гнильцой. В вас я вижу самый жалкий, самый смешной пример того самообмана, который приводит к наиболее пошлым и озлобляющим разочарованиям. Вы пошли на сумасброднейшее предприятие, чтобы завоевать "ее". А после того как она станет ваша, вы с ужасом увидите, что в чужих руках кусок кажется больше. Женщину уважаешь до того, как она изменяет предшественнику, уйдя с вами. Неизбежно начинаешь ревновать... А ревность... Ну, черт с ним, с духаном! Пошли. Только не говорите благоглупостей о любви. Они прямо накапливаются на ваших влюбленных устах. Вперед, в советский Техас, на борьбу с бичом трудового крестьянства!

-- Если нынче Тер-Погосов обменяет советские на фунты, ведь я спасен! Все спасены. И ваши речи мимо. А

там -- Москва...

-- Про Москву я тоже мог бы поговорить. Уж если драть, так драть за границу. Вещи и идеи приятно иметь в чистом виде. Решительно вы заражаете простосердечием. Мне уже доставляет удовольствие, что я являюсь к Крейслеру как снег на голову. Гимназическому товарищу сюрприз, утешение прошлого в несчастьях настоящего. В те времена он был первый голубятник в городе, страшный драчун и классный футболист. Небось ничего не осталось?

-- Да, мало. Хотя забияка такой же. Тер-Погосов от него едва ноги унес. Его здорово персидская передряга скрутила, да и Татьяна Александровна болеет...

-- Ну, что ж вы замолчали, лирик? Да, сюрприз, сюрприз...

## II

Пароход "Измаил Тагиев" мерно дошлепывал милю за милей одинокого скучного моря. Он все время слегка заваливался налево, откуда постоянное полосканье ветра нагоняло пологую тупую волну. Смотреть в открытое море, -- светло-зеленая гладь чуть морщилась, в подвижных складках купалось разъяренное солнце, и можно было бы ослепнуть, если бы не так мягко дымилась голубоватая, емкая даль. Справа дрянное судно сопровождалось ровной желтой грядой берега, пустынной, наводившей мысли об изгнании, о голодовке. Суша тянулась, как нескончаемое сновидение. Онуфрий Ипатыч знал эти места с детства. Их песчаная безотрадность жгла теперь напоминанием о неудачах, о том, что вот он приближается к Карасуни, к заводу, к Тане, и приближается обманутый. Еще вчера он торжествовал, надеясь, что дележ совершится и он исполнит обещанное ей, но Тер-Погосов умело уклонился от разговора в суете отплытия. Нынче с утра прячется в каюте, что-то он теперь замышляет? Борьба с ним изнуряет, подымая со дна души такие отвратительные, жгучие яды, такие гнусные мысли о человеке! А между тем только этим зловонным оружием и можно сразить волосатого врага.

Пароход попыхивал, иногда, неизвестно почему, сипло оглашал палубу гудком, поворачивался. Нечистота и дряхлость судна, будничное спокойствие предвещали, казалось Онуфрию Ипатычу, поражение. Миновали маленький каменистый островок Малый Дуван. На берегу у мыса, торчавшего из песка, как полуистлевший бивень, раньше ютился рыбачий поселок. Веремиенко загадал, -- если навстречу выйдет лодка, как это делалось всегда до революции, взять почту, посадить пассажиров, значит, желание исполнится. Но пароход даже не загудел, от поселка не осталось и признаков, -- видно, во время войны его сожгли. Так опустело все побережье. Стало скучно стоять на носу. Чем можно развлечься на безлюдном буксире? Перешел на корму. За кормой струилась и завивалась легкой пеной жидкая зеленая волна, отмечая путь. Тень от дыма бежала рядом, его относил к берегу. Длинный, туго натянутый канат, как бы вздыхая, волок большую неуклюжую баржу, она словно утюг стирала морщину, прорезанную пароходом, за ней смыкалась рябая водная пустыня. Черная баржа двигалась неуклонно, как укор совести, как статья закона -- за преступлением, и Веремиенко посматривал на нее со смутным чувством опасения и дружелюбия. В единственной приличной пассажирской каюте сейчас валяются Муханов и Тер-Погосов, с напускной беззаботностью дымя папиросками. А и они видят тяжеловесное сооружение, ползущее за пароходом, груженное вместо ядов, выведенных в оправдательных документах и бухгалтерских книгах Саранчовой организации, бочками с песком, разным ломом и хламом -- вместо технического оборудования. Покуда не развязались с этим, пусть Тер-Погосов не празднует. И Онуфрий Ипатыч попирал ногой массивные завитки каната, мощно и равномерно тершегоса о дерево палубы.

Подошел капитан, приземистый большеголовый старик, часто привстававший на цыпочки и тогда бахвалившийся: послушать его, так он и "Лузитанией" командовал. Его нынче утром безжалостно срезал Тер-Погосов: старик поздоровался для шика по-английски, Георгий Романович загнул длинное матросское ругательство, гордость британского флота, капитан, не понял, подвергся насмешкам и поджал по-бабьи губы. Теперь Веремиенко привлек его удрученным видом, и он шепеляво забормотал об апельсинном ветре из Энзели. По Онуфрию Ипатычу, ветер хоть бы и не благоухал, а скуку не разгонишь никакими апельсинами.

-- Вот то-то я и говорю, -- сглуху обрадовался капитан. -- К вечеру будет сильнее, барометр падает. Не дай бог разведет волну. Ме дье ну гард! -- и, довольный французским языком, отправился на мостик.

К закату в самом деле посвежело, пахнуло уже не Энзели, а Волжским устьем. Месяц поднялся за облака. Ужинали все вместе. Онуфрий Ипатыч выпил араки с капитаном и заявил задорно, что ему нужно побалачить с Георгием Романовичем. Тот мутно поглядел и так лизнул пересохшие губы, словно готов был сорвать с них кожу. Плицы шлепали за переборками кают-компания, ночь перемалывалась скрежещущими машинами, у нее был тошнотворный вкус, пресекавший Тер-Погосову всякую возможность наслаждаться веселой стряпней судового кока: пароход начало поматывать килевой качкой, а Тер-Погосов был в сильной степени подвержен морской болезни.

-- О чем мы с тобой будем разговаривать?

-- У меня есть что спросить.

Тер-Погосов откинулся от стола, прижал салфетку к губам, позеленел, ему невмоготу было оставаться в каюте, полной запахами еды, он выбежал на палубу. Высокие рваные облака, предводимые бежавшими за пароходом звездами, темно плыли в небе, их земным отражением казалась большая, неясная баржа с печальным огоньком на носу. Тер-Погосов прислонился к борту, блуждающий свет из кают-компания колебался на его измученном лице. Он едва собрал силы выдавить:

-- Ну, говори, если не терпится!

Веремеенко начал издали, -- трудно нападать на потерявшего самообладание человека, -- он дал понять, что раскусил способ обмишуливанья (так мудрено и выразился: "Разделяй и властвуй"). Его, Онуфрия Ипатыча, постоянно старались поставить один на один с Георгием Романовичем.

-- Только вы меня своей лавочкой не удивите, я на весь банк пойду.

-- Раскудахтался, -- вяло сказал Тер-Погосов.

Муханов вперился в неизмеримую мглу, в которой барахтался пароход. Муханов не проронил ни слова, зная, что это молчание -- помощь Онуфрию Ипатычу, что молчать разумно, что пора накапливать союзников, иначе ему достанется последнее единоборство с Тер-Погосовым, который подминал людей, как кабан кукурузу.

-- Да что там языком колотить! -- закричал Веремеенко. -- Бочки с песком везем...

Тер-Погосов пожал плечами, отвернулся. Не защищенная волосом белизна шеи вдруг открылась Онуфрию Ипатычу.

-- Огласки боишься... Судно маленькое, в пассажирской каюте захрапят, на мостике слышно. Деньги!

-- Тише, дьявол!

-- Деньги, деньги на бочку!

-- Сколько?

-- Все мои три тысячи, как хочешь, -- золотыми, долларами, фунтами.

-- Бандит, еще валюты перебирает!

Странная перебранка, сражение издевками завязалось между ними. Это отдавало сумасшедшим домом. Муханов давно примечал в своих сообщниках мрачноватую рассеянность. Выцветали и блекли душевные оттенки, зато сгущались основные цвета. Муханов знал цену наслаждениям, и ни у одного из них не видел влажных счастливых глаз. Зато резче и жестче определились складки губ. Муханов давно наблюдал опасный признак: непроницаемую душевную уединенность, позволявшую забывать об окружающих обстоятельствах. Веремеенко и Тер-Погосов кричали друг на друга, не слыша голосов, не чувствуя оскорблений, квитались за все прошлое, за постоянную вражду, их злоба росла и теперь, но независимо от ругани. Они позабыли, где находились.

-- Погодите, -- тихо остановил Муханов, -- надо еще избавиться от баржи.

Они сразу подчинились. Тер-Погосов побрел в сторону, из полосы света в темноту, и там его начала мучить морская болезнь.

-- Ну, черт с тобой, мужик, -- проговорил он ослабевшим голосом. -- Получишь деньги, две с половиной

тысячи. Баржевой старшина -- сволочь... нельзя положиться... связался с ним...

Его побеждала плоть, переваливала через борт, выворачивала душу. Он стонал, кряхтел и между жалобами ругался, раскаиваясь, что поехал. Он не мог никому доверить ликвидировать баржу, а с нею все улики. Нет людей, не на кого опереться. Истощенный и потрясенный, он раскрывал карты. У Онуфрия Ипатыча закружилась голова. Зыбкий ход парохода, эта качка, губившая врага, его, Веремиенко, возносили, ему помогали. Он торжествовал.

-- Еще пятьсот рублей! Я перейду на баржу, пушу на дно у самого устья. Там желтая вода. За горло возьму баржевого. Деньги сейчас!

-- Да нет у меня таких денег!

-- Займешь у Муханова, потом сочтется.

-- Ну, с ним считаться. -- проворчал Муханов.

Веремиенко рванулся к нему, схватил за руку, беспомощно длинные пальцы слабо пошевелились, -- и, теребя ее, потянул Муханова к корме.

-- Слушай, -- хрипел он в бешенстве, слюна забивала рот. -- Смотри! -- И он показал туда, где темнела в чуть светившейся воде, не отставая, подымаясь с горизонта, баржа. -- Заору! Разбужу команду! Пусть вскроет любую бочку.

У Муханова остановилось сердце, обдало холодом из туманной бездны, откуда надвигался этот черный призрак, готовый раздавить. "Молчи, молчи", -- хотел он вымолвить и только странно откашлянулся. Веремиенко терзал его пальцы.

В ту же ночь Онуфрий Ипатыч получил от Тер-Погосова сто пятьдесят фунтов стерлингов и пятьсот долларов.

### III

Часа полтора "Измаил Тагиев" стоял на якоре перед устьем реки и хрипло взывал о лоцманской помощи. Уже вечерело. Волнам предшествовали темно-багровые тени. Но и в смягченном свете вечера легко различалась желтизна пресной воды, наносимой мощной и мутной рекой в соленую зелень Каспия. Здесь образовались из речных наносов опасные отмели: при глубине в полторы-две сажени хорошая волна, разбежавшись с морского простора, почти обнажает дно, и горе судну, которому придется скакать по песчаным, тупым гребням. В замысловатую дельту вход сложен, изменчив, пароход взывал к лоцманской помощи.

Веремиенко перебрался на баржу. Сухое раздражение, напоминавшее волнения карточной игры, мучило его с прошлой ночи, томило, словно бессонница, и ничего так не хотелось, как опуститься в дремоту. Баржевой старшина Петряков, который держал в своих безмерных, тяжелых лапах их спасенье, опасно помалкивал, отворачивал безбровое носатое лицо и кривил тонкий, как бритвенная ранка, рот. Он словно сам боялся показывать несоответствия своего лица.

-- Как вымерли все, -- сказал Веремиенко, поглядывая на дальний плоский берег с признаками поселка, очевидно опустелого. -- А ветер свежеет. Капитан дрейфит: в волну -- с буксиром, да фарватер с капризами...

Три рукава реки уходили от моря в камышовые заросли. С баржи было видно, как бурлила вода у полускрытых камней при входе в средний рукав. На пароходе суетились, верно решили: не ждать лоцмана и войти в устье до наступления темноты.

Давеча Веремиенко посмеивался, Тер-Погосов рвал и метал, кричал на капитана, отказываясь разрешить держаться с грузом в открытом море. Он быстро понял положение. Провожая Веремиенко, сказал тихо, побледнев, с прерывающимся дыханием: "Сажай на камни, и концы в воду".

Но, попав на баржу, Онуфрий Ипатыч вполне оценил, насколько его одурачили, поставив наблюдать за Петряковым. Прожженный плут глазел по сторонам, держался так, словно ничего особенного и не предполагалось. Может быть, он действительно замышляет свое: благополучно провести баржу, а там и

предать всех. С чем приступить к человеку, который несет такое:

-- Все развалилось к чертовой матери. Вот теперь и собирай. Я в девятнадцатом году в Астрахани в Особом отделе флота служил. Клуб у нас открывали, в здании биржи. Артистов, певцов пригласили из бывших императорских театров. Выкатился какой-то очень знаменитый певец во фраке, становится перед роялем, а у меня приятель был Саша Овсянников, малый боевой, как крикнет на весь зал: "Яблочко!" Песня матросская, любимая. Братва присоединяется. А, видим, певец не знает. Саша надрывается: "Яблочко!" -- весь зал ногами топает: "Яблочко!" Певец публику останавливает. "Извиняюсь, -- говорит, -- "Яблочко" я не знаю, я могу спеть "Рябину", русскую песню". Саша ему: "Ладно, пой, хрен с тобой!" А в зале шумят, шаркают. Подсолнухи, конечно, и дынные семечки. Саша встает и громко говорит: "Голос вполне паршивый, хоть и императорский певец. Пойдем, Петряков".

Петряков засмеялся отрывистым барабанным хохотком. -- Сашу в то же лето расстреляли. -- Он продолжал улыбаться. -- Да и меня с той службы поперли. Что там говорить, насилу ноги унес.

Он взглянул на Онуфрия Ипатыча, сморщился, как будто готовый чихнуть, -- он все еще веселился. Парень, видно, привык хитрить и наслаждался растерянностью посланного к нему соглядатая. Веремиенко вспомнил о кислой крови мыши, которой забавляется кошка.

-- А очень много я мог разрушенья в жизни сделать. Только теперь я у ученого человека в руках, у того самого, который вас сюда послал. Напрасно сомневаются, я ему уважу.

Он встал к рулевому колесу. Пароход неистово гудел и бурлил воду. Канат натягивался. Команда баржи, четверо замороженных татар в лохмотьях, сбилась на палубе, встревоженно переговариваясь. Петряков крикнул им по-тюркски, чтобы они берегли штаны, они засмеялись, видно доверяли.

-- Господи благослови, -- тихо сказал баржевой.

Веремиенко встал в сторонку. "Посадит или нет? Посадит или нет?" -- гадал он.

-- Зажги огня! -- крикнул Петряков, хотя солнце еще не село, крохотная доля ярко-красного диска еще дрожала на волнах и, как розовый пух, висели лучи.

"Посадит!" -- решил Онуфрий Ипатыч. Через несколько минут пароход вошел в загадочные желтые воды. И Веремиенко мог бы поклясться, что видел, как Петряков закусил губу, наводя баржу на камень. Веремиенко слышал легкий толчок и, может быть, короткое скрежетанье, но выдержал время и не первый закричал, что произошло несчастье. Закричал татарин рулевой. Вся команда подхватила вопль. Они бестолково бегали по палубе, Петряков нарочно увеличивал суету, бросив руль. Веремиенко не испугался, но почувствовал, как липкое утомление сгустило всю кровь. И желание утонуть, умереть охватило, как тоска по сну.

## Глава шестая

I

С последних чисел апреля Карасунский район начал готовиться к борьбе с саранчой. Крейслер и Эффендиев объехали наиболее крупные селения района, Крейслер обычно делал доклад, опрашивал жителей о прошлых нашествиях, выбирал наиболее опытных, толковых крестьян, инструктировал их в самых основах защиты полей от возможного нашествия. Ядов не было, борьба предполагалась механическая: канавами, -- сжиганием, волокушами. Во всех книжках, которые читал Крейслер, способы эти были отвергнуты, как дорогие и мало достигающие цели, рекомендовались яды, опрыскивания, приманки. А их-то и не слали из Саранчовой организации. Эффендиев действовал по административной линии, он лично делал каждому председателю сельсовета особое внушение о серьезной опасности, о необходимости бороться всеми мерами. В тюркских аулах он, кроме того, переводил речи Крейслера. И всюду, где они проезжали, оставались встревоженные лица, гудели голоса им вслед. Против фронта зараженных тростников обучались отряды защиты. Крейслер понимал, что огромная малонаселенная округа с несколькими речками, озерами, болотами, пустошами почти совершенно не обследована, требовались для этого сотни разведчиков, а их было всего семеро. Поступали все новые сведения о местах, где находились кубышки. Высокая вода в Карасуни и поздняя весна задержали отрождение личинок, это давало, казалось бы, отсрочку, но зато затягивало борьбу и таило возможность появления неожиданных масс новых личинок. Подготовка

развертывалась. Эффендиев все чаще бывал у Крейслеров, ночевал. Они сблизились, и даже Таня, туго сходявшаяся с людьми, привыкла к председателю рика. Эффендиев позаботился об охране завода и прислал двух милиционеров.

Однажды он приехал из Асад-Абада. Из шарабана за ним вылез хилый человечек в мешковатой, добротной чесуче, с карманами пиджака, оттянутыми книжками, пачками газет, с огромным портфелем, тоже сверх меры набитым бумагой. Человечек, помаргивая розовыми глазами, безуспешно стирал бисер пота с бледного личика, с Крейслером поздоровался озабоченно и высокомерно, как будто его отрывали от важного дела этим обрядом знакомства. Эффендиев представил товарища Чихотина как специалиста по истреблению саранчи.

-- У меня новые идеи, имейте в виду, -- сказал приезжий, отворачиваясь, и зажмурился, словно боялся увидеть непочтительность в собеседнике. -- Вы читали мою статью в "Закавказском пролетарии"? Нет? Жаль. Вот!

Он тут же у шарабана вытащил из портфеля пачку авторских номеров.

-- Прочтите. Она была еще в прошлом году напечатана по поводу лётной саранчи. Тогда только проникли сведения в печать...

Крейслер горячо ответил, что у него гора с плеч свалится, если товарищ Чихотин, труды которого он, к стыду своему, не знает, окажет помощь. Эффендиев -- улыбался, довольный спорым началом. И сразу же потребовал, чтобы не позже чем через два дня Крейслер созвал совещание всех местных руководителей борьбы, инструкторов, разведчиков, сельских председателей, персонал завода. Он любил заседания, сидел и слушал до тех пор, пока не уяснял вопрос, и тогда начинал действовать. Крейслер находил, что это -- дорогой и медленный способ учиться, но другого придумать не мог. А Эффендиев с тех пор, как стал ездить к нему, здраво рассуждал о кубышках, о гнездилищах, о разведке, и не только рассуждал, но и разбирал карты местностей с точно отмеченными залежами, изучал подъездные пути, колодцы, заботился о продовольствии, о бочках для воды, искал катки, он применял военные навыки.

Крейслер пригласил гостей завтракать, но специалист потребовал уединения. Пришлось отвезти его в контору, где складывали нехитрый и бедный инвентарь разведок: компасы, гербарные сетки с образцами растений, палатки, переметные сумки, фляги, войлок. Михаил Михайлович принялся было с гордостью показывать образцы кубышек, разведочные ведомости, но Чихотин, бегло взглянув на заваленный стол, спросил:

-- Как вы думаете, я не продешевил, назначив за истребление саранчи пятьсот рублей золотом? Мне, разумеется, как изобретателю. Я не бескорыстный маньяк, идеи стоят денег. Мы машины, дорогие машины для выработки мысли.

Розовые глаза его мелькали в странном дрожании, может быть, в тревоге, но голос тек ровно. Крейслер ответил, что не может помочь решить вопроса о плате, это не его дело. Чихотин наставительно говорил:

-- Немедленно же прочтите статью, это займет у вас несколько минут, она отчеркнута красным карандашом. Она обогатит вас. Все большое -- просто и коротко. Она проста и коротка. Нужно бросить старый хлам, эти кубышки и их изучение. Одна идея способна перевернуть всю эту ученую рутину и двинуть вперед человечество. Не надо бояться свежего воздуха. Ведь здесь есть река, озеро?

Крейслеру все это переставало нравиться, и он ответил так, чтобы специалист обиделся:

-- Азиатская саранча, *Locusta migratoria*, гнездится, как известно, преимущественно и главным образом в тростниках и в растительности около больших водоемов.

Чихотин обрадовался, пробежался, потирая руки, по комнате и сел за стол.

-- Вот видите, как хорошо. Значит, река есть. Это входило в мои планы. Оставьте меня одного, идите читать статью. Прочитав, подумайте. Я буду размышлять. Пришлите поесть.

Эффендиев пил чай с Таней, деловито беседуя о семье и Ираке. Он не терпел пустых разговоров: агронома расспрашивал о земледелии, врача о санитарии, с коммунистом говорил о партработе, от Тани он надеялся получить своеобразное освещение вопросов пола. Так всегда он, -- или учился, или учил, или отдавал

распоряжения.

-- Найти новую семью нелегко. Гораздо легче разрушить старую, -- говорила Таня. -- Как вы сами живете с женой?

Таня знала, что он женат на тридцатипятилетней фельдшерице станции Асад-Абад, и, по рассказам Михаила Михайловича, давно составила представление о ней. В тридцать пять лет они все, как одна, эти фельдшерицы, малокровные и трудолюбивые, Таня проработала с ними на фронте несколько лет.

-- Она у меня самостоятельная, старая, все сама. Одна живет, зарабатывает. Я редко у нее бываю, некогда. Она понимает, не сердится.

Таня перебила его, раздражаясь:

-- Жену вы свою не любите или почти не любите. Она вас или мало любит, или очень горда. Но это не брак и не семейная жизнь. Я бы так не могла. Для меня любовь и брак -- безграничное владение друг другом.

Эффендиев промолчал, как будто не расслышал.

Крейслер с трудом нашел напечатанную мелким шрифтом на четвертой странице заметку, старательно обведенную красной чертой. "Неиспробованная мера" называлась она. Автор предлагал протянуть длинную проволоку с горящими тряпками по полю, на котором сидит крылатая саранча, и наступать на нее. Саранча, испугавшись огня, должна подыматься и улетать. Крейслер прочитал эту заметку два-три раза, подумал, еще раз прочитал. Поискал объяснений, не нашел. На второй странице был напечатан фельетон знаменитого туркестанского энтомолога С., который доказывал, что борьба с лётной саранчой дело безнадежное и все силы надо сосредоточить на истреблении пешей -- личинок, ликвидируя постоянные гнездилища.

-- Твой Чихотин, -- сказал Крейслер все время молчавшему Эффендиеву, -- или шарлатан, или сумасшедший. То, что он пишет тут, -- бред.

-- Ты слишком скор осуждать и порочить. -- Эффендиев даже закусил губу. -- Зря печатать всякое вранье не будут в наших коммунистических газетах. Надо послушать, что он скажет. Вы, интеллигенты, любите замыкаться в своем высокомерии, идей боитесь, свежего воздуха. А он, самоучка, пролетарий, который выдвинулся, кипит.

Он расстроился. Попросил верховую лошадь, предложил немедленно поехать в тростники. По дороге попрекнул с сердцем:

-- Работа у тебя стоит.

Крейслер обиделся в свою очередь. Личинки могли начать отрождаться только в непроходимых чащах. У него нет возможности пробиться туда, нет средств, людей, ядов, можно только отстаивать культурные земли.

Весь день Крейслер, Эффендиев и разведчик Чепурнов, рабочий с завода, молоканин, карлик, похожий на жокея, ездили по берегам Карасуни. Десятиаршинные тростники шумели, как заросли бамбука, буйные и непроходимые, они частым лесом населили пески, выбивались прямо из воды, мощные и первобытные. Их гущина пугала. Их корни образовывали кочки по брюхо лошади. До реки было трудно добраться из-за топей. Там, где редели тростники, густо плодилась осока с темными метелками неприветливого своего цветения и куга с бархатными банниками.

Чепурнов показал им первые отрождения на высоком, сухом, песчаном бугре, к которому пришлось пробираться в страшной глуши. Крейслер бросился наблюдать. Начиненная яйцами почва порождала личинок. Маленькие, длиной с овсяное зерно, цвета старой слоновой кости, они выползали на песок и вскоре чернели, природа заботилась о них: личинки, облепившие осоку и питавшиеся ею, не отличались по цвету от метелок. Белое солнце любовно грело белую воду, белый песок, тростники, осоку, личинок, слепней, вившихся над лошадьми. Крейслер смерил температуру песка, потом на высоте аршина от земли, посмотрел на часы, записал. Эффендиев любовался им, Чепурнов сказал, таинственно щурясь:

-- Я вам один островок покажу, никогда его водой не заливают. Там что делается!

Они проехали вброд. Крейслер закричал. Все пространство острова представляло черную живую кашу,

осоки не было видно, она была сплошь покрыта, примята, прибита к земле насекомыми. Лошади опасно ступали в сплошной живой массе, доходившей им иногда до колен. "А-а!" -- кричал Крейслер, и двое других поддерживали его. С этим воплем отвращения и опасения, бессмысленным и понятным, они проехали поперек острова и там увидели, как личинки переправлялись на другой берег. Карасунь по узкому месту текла довольно быстро, сносило течением миллионы личинок, но живой мост лежал до самого противоположного берега, от него отхватывались и уплывали целые острова, -- саранча не останавливалась. Она шла по нижнему плывущему слою, как по понтону, как по суше.

-- Вот так же она и на нас поперет, -- сказал Чепурнов. -- Дичает наш край, множатся тростники, а в них и она начинает вольно плодиться.

Крейслер рассматривал личинок, искал паразитов на них, собрал в мешочек, ругался, что нет микроскопа.

Они возвращались потрясенные, усталые, голодные. Чепурнов уехал далеко вперед. По зеленому небу растекся закат. По берегу задымилась костры, дым, как башни, подымался к небу в безветренном воздухе. Это беженцы с Поволжья расселились по берегу Карасуни. Выехав на шоссе, всадники встретили целую толпу их. Они искали работы и спрашивали про саранчу. Эфендиев сказал, чтобы приходили на завод. Крейслер досадливо отмахнулся. Они побрели дальше, пыльные, взметая пыль, с проступающими из лохмотьев костями. Эфендиев посмотрел им вслед, лицо у него покривилось.

-- Отмахиваешься, беспокоют? Вот ты вырос в довольстве, на папашиных хлебах. А я корки из помоек и кости добывал, обгладывал. Да, я, я -- Эфендиев. А ведь я и тогда человеком был, своего будущего ждал и хотел. Знаешь, какая злоба растет: только помани, от такой жизни куда хочешь кинешься. Я бы в разбойники ушел, в бандиты, а мне показали свет, -- коммунизм. И теперь мне другого не надо, над другим думать некогда, -- я весь в одной мысли. И тот, кто мне помогает, -- друг, а тот, кто мешает, -- враг. Я уж не сдам, не сверну и вверх полезу, сверху виднее, как жизнь строится. А я видеть и строить хочу.

Крейслер рассмеялся.

-- Честолюбив ты очень, быть тебе наркомом.

-- Ты не шути, я не люблю. И буду! Чему завидую у тебя, -- здоровью твоему: книжки читать умеешь, сидеть за столом умеешь, ты немец, -- упорный! Я на немцев нагляделся. А у меня от бумаг голова кружится.

-- Что ты утром брякнул об интеллигенции? Свежего воздуха боимся? Нет, врешь, брат, мы книжки не зря читаем, и вы наши книжки читаете. В скороспелые идеи не верим. А этот Чихотин -- сукин сын, я твердо убежден. Слышал, что буржуазия хорошо интеллигенцию оплачивала, и решил, что весь секрет в рвачестве.

Эфендиев вдруг насторожился, даже коня попридержал.

-- Что? Что такое? Я ему дал пятьдесят миллиардов авансом, без этого он и рта раскрыть не хотел. Но все-таки его надо послушать, -- успокаивал он сам себя.

Эфендиев был скуповат. Крейслер подмигивал, похмыкивал, прыгал в седле. Он невзлюбил этого Чихотина -- чванного самоучку, вытирающего очки.

На другой день состоялось заседание. Черные загорелые мужики густо навалили в тесное помещение конторы, принесли запах полей, навоза, крепкой еды. Чихотин говорил, закидывая голову назад, выпячивая чахлую грудку, не глядя на слушателей, -- напоминал бесноватого.

-- Моя идея, как все большое, проста. Великое бесспорно. Замечено, что саранча переплывает реки и большие водоемы. Я предлагаю поперек местной реки Карасуни поставить цепь из бочек с керосином. В каждой бочке просверлим маленькое отверстие. Керосин, выливаясь постепенно в воду, покроет реку тонким слоем. Достигнув этой полосы, саранча замажет себе дыхальца и погибнет.

Первым из уголка тонко захихикал Чепурнов, -- остальные молчали, вникая, -- вышел к столу, презрительно отстранил Чихотина.

-- Сорок лет живу на свете, двадцать лет вожусь с этой саранчой, с кобылками разными, человек я не ученый, но опыт приобрел и видел много научных способов, -- иные помогали, иные нет. Но никогда ничего похожего не видывал, не слыхивал. А вдруг она через реку-то не поплывет? -- Он бросился на Чихотина, аж руки вскинул. -- Вдруг не поплывет? Тогда что? А вдруг она на нашем берегу отродилась и незачем ей в реку

плыть, в ваш керосин? Может, она прямо на нашу пшеницу метнется. Вы в ее капризах сидели? Да так и попрет. А может, керосин-то ее и травить вовсе не будет, не будет дыхальца забивать.

Он прервал речь, опять тонко, язвительно рассмеялся, трясаясь всем своим ладным тельцем. Широко задвигались мужичьи бороды. Михаил Михайлович встал и подтвердил:

-- Товарищ Чепурнов прав.

После заседания Эффендиев посадил в бричку Чихотина, замкнувшегося в обиженной брезгливости, поманил Крейслера в сторону:

-- Отвезу его в Асад-Абад, там арестую.

Михаил Михайлович изумился:

-- За что? Что он тебе дался, сумасшедший же.

-- А черт с ним, пусть не отвечает. Саранча по всей Степи, не только в нашем районе. Переберется в другой уезд, будет головы морочить. Для его же пользы посажу, в другом месте за такие советы убьют самосудом. Я видел сам, как она по воде идет, -- много тут керосин поможет! А так он отсюда пятки намажет до самой Москвы, когда я его выпущу.

Таня целый день супилась, сделала свои выводы:

-- Наш край обречен. Нет культурных сил, руки не доходят до окраин. Ты совсем одинок. Под руку лезет какая-то мразь, -- это же не случайно.

## II

-- Вот, товарищ Эффендиев, -- рассеянно говорил Михаил Михайлович, осыпая обрывок газеты закорючками цифр, -- вот, товарищ, -- саранче, каждому насекомому нужно семьдесят два золотника, то есть три четверти фунта зеленого корма, -- пропитание на всю жизнь. Так в этот год она истребит в нашем округе четыре с половиной миллиона пудов, то есть почти все тростники на русской стороне Карасуни, иначе говоря, лишит окрестных жителей и топлива, и строительного материала, которым пользуются при нашей бедности во всем районе. О посевах говорить и не приходится, если она на них двинется.

-- Посевы надо отстаивать.

-- Легко сказать! -- голос Эффендиева прозвучал как будто издали. Крейслер поднял на него рыжий воспаленный взгляд. Таня посмотрела на них. Они были рядом как два угля: Крейслер, в веснушках, в диких оплеухах загара, в поросли красной бороды, -- как бы догорал; лицо Эффендиева, в блеске желтой иранской кожи, в жесткой курчавости волос, казалось куском антрацита, только что зажегшегося в хорошо разжужженном под дувалами жерле заводской печи. Эффендиев никогда не записывал того, что сообщал Крейслер, и все прекрасно повторял в докладах. "Саранчу мы сгоним, -- говорил он, -- а потом за настоящие дела примемся".

Весеннее солнце нагревало Степь, как щеку яблока. Почва, начиненная мириадами и мириадами яиц, выделяла свой клад в дебрях тростников. Эффендиев сам не так давно жил, как живут и множатся в этом неисследованном мире рыбы, дичь, звери. И он находил для описания бедствий, несомых саранчой, неожиданные слова. В шарабане или верхом на гнедом иноходце он переезжал из селения в селение и, когда ехал один, распевал сочиненную им песню: "Камыш зорок, как хоросанский жеребец. Он чуток, как джейран, как горный поток, он шумит при ночном ветре. Страшное множество плодится у его корней".

Он любил произносить речи. Чаще всего вспоминал, как, почти выпадая из гнезда балкона, зажигал кровь "революционной демократии" расстрелянный Алеша Джапаридзе. Эффендиев даже огорчился, что революционная демократия сдана в архив вместе с его ранней молодостью, Гумметом, борьбою за Кюрдмир под начальством левого эсера Петрова, одного из двадцати шести. Боевые крещения не забываются. Призывы к борьбе с саранчой, возбуждение добровольчества, -- это напоминало суматоху восемнадцатого года, когда он, братаясь с армянами, бил наступавших мусульман.

И теперь наступили тяжелые дни. Крейслер приходил в отчаяние.

-- Что же это делается? От Веремиенко, от Саранчовой организации ни слуху ни духу. Мы согнали людей, понанимали беженцев, зря кормим.

Пан Вильский вошел боком в дверь, прикрыл ее плотно, как заговорщик.

-- Совершенно верно. Я сейчас отпустил вечернюю партию, совсем мало провизии остается. Разрешите сказать.

Он уселся, как усаживался в этой комнате вечерами, под пульсирование знакомой динамо, полтора десятка лет, в позе, которая, казалось, была ему навязана невидимым футляром, и, поигрывая пугающе длинными пальцами, начал обычное:

-- Вспоминаю, это было за Мейером, в тринадцатом году, на четвертом року моей службы в качестве помощника механика. Тогда тоже появилась страшная саранча. Господин Мейер был хотя и немец, но честный и порядочный человек (он безмятежно поглядел на Крейслера), -- и надо сказать, тогда ведь все посева страховались, однако он считал долгом бороться с саранчой и купил те аппараты "Вермореля". И я вспоминаю, что мы не нуждались в продуктах для рабочих. Если не было, мы их покупали в Черноречье у молокан, а потом подавали счета уездному агроному.

Трудно было понять, какой опыт вынес пан Вильский из нашествия тринадцатого года. Заметив недоумение, он с ужимками крайней доверительности закончил:

-- Я только счел долгом сказать, как было за Мейером.

В открытое окно через сетку от москитов пробился залиvistый лай тощей собаки Халхалки, ожесточенный, прерывистый, хриплый. Ее прервали руганью. Под осторожное отпрукивание тяжело прошлепали копыта лошади. Таня вышла.

-- А мне черт с ним, как было с Мейером, -- без насмешки возразил Эффендиев, прислушиваясь. -- Не хватит хлеба, завтра же отниму у кулаков. Пусть меня расстреливают. Надо от нее отбиваться. Не могу без дела сидеть, ждать, когда она меня жрать придет.

Он потому и был близок Крейслеру, что видел в саранче личное несчастье. Таня вернулась.

-- Телеграмма. Привез нездешний, беженец, заблудился: Веремиенко? -- спросила она.

Михаил Михайлович возился с бандеролью, руки дрожали, едва не порвал бумагу.

"ЦЕЛАЯ ЭК-СПЕ-ДИЦИЯ, -- МЕДЛЕННО РАЗБИРАЛ ОН ПОЛУСТЕРШИЙСЯ КАРАНДАШ, -- СРОЧНО ГРУЗИТСЯ ПОЙДЕТ МОРЕМ ТОЧКА ТРЮМ ПАРОХОДА БАРЖА ПОЛНЫ ИНСЕКТИЦИДАМИ С НАМИ ТРИ ГРУЗОВИКА АППАРАТУРА КОННАЯ ВЬЮЧНАЯ ТОЧКА ВСЕ-ВСЕ-МЕРНО ЗАДЕРЖИВАЙТЕ ДВИЖЕНИЕ САРАНЧИ ВЕРЕМИЕНКО".

-- Дурак! -- прошипел Крейслер, побагровев. Прилившая к голове кровь, казалось, шевельнула волосы. Он выдохнул звук с такой силой, что затрепетал желтый абажур над лампой. Таня поняла, насколько муж отравлен волнением, затемнившим его ровную кровь. -- Дурак! "Всемерно задерживайте"... Откуда у него слова такие! Что мы можем сделать в болотах? Мы не насекомые, чтобы скакать с кочки на кочку, не птицы. А она скачет, она сажень за саженью приближается, голодная, ненасытная, идет вразброд, черт ее знает куда повернет! Первобытные канавы, волокуши, трещотки, -- нам только кажется, что мы ее задерживаем. Это первые отряды личинок. У нас нет средств содержать людей. Теперь самое время начинать борьбу ядами, она отродилась вся, даже в низменных местах... Не могу поверить, что он трезвый послал такую телеграмму.

-- А пьян, так его расстрелять мало. Когда же они будут?

-- Если завтра погрузятся, -- через пять дней.

-- Считай, неделю. На сколько у нас хватит хлеба, пан?

-- Коли давать сполна, по полтора фунта, -- на два дня, по три четверти -- на четыре.

-- Давать по полфунту. Послезавтра пятница, не работать вовсе.

Крейслер заметил, что эти меры раздражат голодных беженцев и расслабят трудовой подъем. И осекся. Злобный взгляд Эффендиева пепелил эту нерешительность и склонность искать несколько выходов, когда

есть один, и лучший.

В комнату ввалились трое разведчиков во главе с Чепурновым. Председатель Чернореченского сельсовета, молоканин с толстой бородой-лопатой, протиснулся в дверь крадучись. Все они несли новые тревожные сообщения: саранча кое-где уже выступала из камышей на поля.

Совещаясь, они просидели до полночи, Эффендиев позеленел, едва разводил рот. Пан, сраженный, задремал на диване.

Почти бредя, последним усилием распадающихся членов помогая Тане стаскивать прилипший к ноге со скомканной портянкой сапог, Михаил Михайлович успел сказать:

-- Говорят, кролики умирают, если им несколько суток не давать спать. У Эффендиева хватит упорства и ожесточения утомить самого себя до смерти.

-- Да и ты такой же. Спи. Спи. Спи.

### III

Кое-где по берегам Карасуни между Черноречьем и Новой Диканькой росли, чаще в одиночку, изредка купами, малолиственные, ветвистые, кривые деревья, которым никто из русских не знал имени. Очень крепкие, -- мука для дровосека, -- они считались ни к чему не годными. Около них редели тростники и сыздавна, еще со времен пионерских поселений духоборов, они служили первым жилищем. Люди селились в огромных гнездах, которые сплетали на вершинах, недосыгаемых для зверей. Но никогда, конечно, этот зеленый город не был так полон обитателями, как в тот год нашествия саранчи. Полтора фунта хлебного пайка привлекали поволжских беженцев чуть ли не со всего Закавказья. С утра до ночи около каждого дерева, с подветренной стороны, дымились костры от комаров. Издали эти дымки казались прочнее деревьев, нанесенные на окрестность как картографические обозначения. "Чисто как птицы. Только что не летаем". И они смеялись, эти люди. Они существовали странным сообществом, безымянные, как деревья, сносясь с миром, с посторонними через выборных. Даже числа этих людей никто не ведал точно. Пан Вильский выдавал хлеб только на работавших, не спрашивая о женщинах, детях, больных. Чаще всего к нему на завод приходил во главе двух-трех молодых парней худой шишковатый старик, звавший себя Степаном Маракушевым. Грамотный и дотошный, он сварливо торговался из-за каждой четвертушки. Его всегда поддерживал молодой мужик, в мешке и остатках домотканых штанов, с изъеденными, в расчесах от комаров ногами. Степана он звал папашей, но себе, -- из озорства или от бездомной гордости, -- расписываясь, присваивал новую фамилию: то Петров, то Ключников, то Лабашкин. Так и другие, сказываясь неграмотными, вдруг писали заявления, записки, видно, им к отчаянной жизни все хотелось прибавить загадочность, не то замести следы.

В тот день Крейслер сам присутствовал при раздаче пайка в темном кирпичном сарае с запахом прелой муки и мышей. Пан Вильский и двое заводских рабочих вешали хлеб, на каждой буханке ставили мелом цифру, беженцы делили сами.

На этот раз делегатов пришло больше, с ними увязались долговязые изможденные ребятишки, все они мялись у дверей, беспокойно озираясь и принимаясь к раздражающему хлебному духу. Старик суетливо бегал вокруг весов, приговаривая: "Нашей партии за два дни должны, за два дни. По три четверки должны, -- два пуда семнадцать фунтов, да два пуда осьмнадцать с половиной". Михаил Михайлович слушал и все никак не мог собраться с силой сказать, что с завтрашнего дня будут выдавать по полфунту, а в пятницу -- мусульманское воскресенье, на работу вовсе не выходить.

Маракушея оторопел, спросил как спросонья: "Чевой-то?" -- потом внезапно закричал:

-- Как же это так? Нешто это по закону по пролетарскому, сбавлять плату? Братцы, договорились ведь!

От крика Крейслер пожесточел, почувствовал твердую сухость в теле.

-- Делать нечего, дед, это временно. У нас как военное положение.

-- Да мы нешто временно выживем! Отощали.

Мужики враз засмеялись безнадежно и враждебно, вышли кучей из амбара посоветоваться, старик потрусил за ними и там, у огромной трубы, висевшей через весь двор (по ней пневматически шел хлопок в очистку), загалдели. Мужики кричали, что это -- "хуже быть не может, заставляя работать да не кормить!". Пятница пережеглась с матюками. По двору пробежали белоголовые ребята пана Вильского, в его окне зашевелилась занавеска, высунулось круглое лицо Марьи Ивановны, Крейслер покусывал губы, примешивая боль к соединению мучительной жалости и раздражения против бестолковых и надоедливых, но голодных и измученных оборванцев. Хлестнул чей-то выкрик: "Вон он, заведующий-то, наел рыло!" Он подскочил к дверям и с порога (голос у него со злобы оказался глухой и короткий) закричал в свою очередь:

-- Вы там поменьше насчет моего рыла!

Те притихли сразу, отворачивались, урчали:

-- Мы про себя. Тоже имеем право говорить!

-- Ну, молчать! -- самозабвенно завопил Крейслер, и сердце забилося у него где-то под левым углом челюсти.

Багровая мгла клубилась, застилала весь двор, весь мир. Неразрешимая натуга налила жилы и мускулы. Пальцы распухли, затяжелели. Еще одна волна этого томления, и он бросился бы на жалкого старика.

Озорник, сын Маракушева, прислонившись к стене, как будто прятался от заката в тень, одиноко покуривал и глядел на Михаила Михайловича с брезгливым недоумением.

-- Вася, -- негромко позвал он.

Молодой мужик, безбровый и подслеповатый, проворно повернулся, сощурился, привычно ждал словно приказания.

-- Ты нынче-к с женой чуть гнездо не провалил. Смотри-ка, она у тебя яйца нести будет!

Япнул Маракушев это ни к селу ни к городу, и сам не усмехнулся. Мужики растерянно примолкли. Но Вася так смешно зажмурился и съежился и так покорно ждал хохота, что все действительно захохотали, а насмешник, язвительно плюнув через губу, повел глазами на Крейсlera. Тому же щекотал усами ухо всполошенный Вильский, нашептывая:

-- Скажите что-нибудь, Михаил Михайлович. Ведь это же порох. Их одним словом можно повернуть куда угодно. От того не будет доброго, связались мы с ними.

Михаил Михайлович послушно, уже стыдясь давешнего приступа ненависти к жалким этим людям, сказал, что, много через три дня, приедет целая экспедиция с ядами, аппаратами, с продовольствием, что мобилизация населения пойдет бодрее и что он сможет выдать тогда все, что задолжал теперь, хоть хлебом, хоть -- по расчету -- сахаром. Детский свет пробежал по серым пыльным лицам с черными углами у губ и у глаз. Маракушев-старик подхихикнул и отозвался:

-- За хлеб-то спасибо, а за сахарок-то втрое!

И все они, и мужики, и долговязые тонкокостные ребята неопределенного возраста, принялись нагружаться отвешенным хлебом, опять унылые, но уже безответные. Маракушев-младший взял оставшуюся буханку и сказал, глядя прямо перед собой, в открытую дверь, где в вечерних сумерках, за стеной и домами заводской усадьбы, зеленела растревоженная Степь:

-- Мы-то маемся. Смотри, заведующий! Коли какая явная неправда будет, нас тут в вашей округе, беженцев, триста человек одних мужиков.

Они поплелись гуськом. Нетяжелый груз сгибал хилые спины. Крейслер вышел вслед за ними. Чуть похолодевший воздух кишел мошкаррой, бодро вившейся над людьми, забиваясь в уши, в ноздри, в рот. Закат играл на проломе ворот, и в них, как будто из другой жизни, появился всадник на гнедом иноходце, сияя кубанкой и черкеской. Но бока лошади чернели в поту, грива сбилась в беспорядке; и у Эффендиева был беспокойный взгляд.

-- Новое дело! -- сказал он тихо. -- Получил сведения, что перегружаются наши центровки с парохода в вагоны. Да, говорят, не то груз подмочили, не то еще того хуже. Я запросил телеграфом..

Крейслер ответил:

-- Зверю я. Самому противно.

#### IV

"Я действительно не знаю, как жить там, в городах, истощенных революцией. Таня права. Но я не чувствую вражды к тому, что там делается. Я везде не ко двору. Белогвардейские власти Энзели-Тегеранской дороги шпыняли меня как красного, здесь я бесцветен. В Евангелии ни холодным, ни горячим обещают геенну. Но ведь это же неправда! Я горячий, а не теплый! Но кажется, что меня заставляют работать на отработанном паре: я еще не успел понять, почему мне было плохо в Персии. Вот оно, тевтонское тяжкодумие! Я знаю одно: вместе с войной кончилось и то распутство, в котором я участвовал с четырнадцатого года. Я едва не заглушил всего себя соучастием в убийствах, пьянством, развратом, картежной игрой. Я пошел на войну, в русский Земсоюз, потому что действительно не чувствовал себя немцем и хотел спасти отца от репрессий царского правительства. Но почел себя вправе вести молодецкий земгусарский образ жизни. Он меня ассимилировал в среде драгунских прапорщиков и казачьих хорунжих, куда я попал, -- это стоило жизни моему отцу. Он умер потому, что не мог понять своим колониистским воображением, куда, в какую пропасть я спустил все, что мне дала семья: характер, волю к работе, спокойную выдержку, наконец, деньги. Я разорвал не меньше, чем закрытие хлебных портов. И, -- полувоин, русак, рубаха-парень, -- с упорством идиота вживался в мертвую жизнь, в безделье и пошлость. И какие потрясения, и личные и народные, понадобились, чтобы отрезвить меня".

На другом листке:

"Самым своим бытием во многом меня убеждает и многому учит Эффендиев.

Он не глуп, но некультурен,

просто малограмотен.

И вместе с тем не делает глупостей,

гнет правильно свою линию,

так мало совершает ошибок,

что его можно назвать безошибочным.

Он -- сила, как силой является и рука человека.

Но он не сам по себе сила, он -- орудие силы.

Кто же настоящая сила?

Она есть. Я хотел бы быть на ее стороне.

В самом деле, раз нет Деникина, его заменяет... Бухбиндер!

Он хочет сделать себе новое богатство и готов вести настоящую войну (скрыто, конечно)...

А я его ненавижу. Куда же мне деваться?

Но у меня есть только отрицательные ответы на все. Немного можно вычитать в татарине-коммунисте!"

Листки были загадочны; не то дневник, не то письмо. Их довольно бестолковые вопрошания предполагали отвечающего. Таня не понимала откровенности с бумагой и обрадовалась, что вопли эти, случайно найденные в книге, оборвались. Ей приходилось слышать их, но в жидком разведении разговоров, которые вели они с мужем зимними вечерами. Обычно она смиряла себя:

-- Сиди здесь ради него. Пусть он судит себя сам.

Ей казалось, что его не за что наказывать: и без того несправедливо сослали в захолустье его, дельного человека, способного в несколько месяцев одолеть целую библиотеку книг по одному вопросу, овладеть им вполне.

О, если бы уехать куда-нибудь! В Южную Африку... Там говорят по-немецки, там крепкий быт. Там не жарче, чем здесь, в Азербайджане. Буры. Буйволы. Копи царя Соломона. Огляделась. В комнате было скредно и пыльно. От казенной мебели не пахло ни копями, ни даже бурским довольством. За окнами бедность Крейслеров прерывалась. Таня вышла.

Яркая, как взгляд в упор, ожесточенная действительность южного утра блеснула перед ней. С крыльца из-под шелкового шелеста платана, покрывшего весь их домик зеленым взмахом, наблюдала она, -- впрочем, довольно безучастно, -- сияние дворовой травки, уводящее глаза в прекрасную тополевую аллею. Ширококронные тополя выстроились вдоль заводского фасада. Тепло уже мощно висело в воздухе, как обещание зноя. До Тани донесся кухонный чад и спросил голосом Степаниды:

-- Чего нынче на обед-то заказывать станете на второе, -- кебаб, что ли, или плов?

Распаренный лик вращался в окне.

-- Делай что хочешь! Все равно ничего не придумаешь. Плов, что ли...

Лик скрылся. Кухонная темнота ворчала:

-- Ну, скажи, совсем запускает хозяйство, на меня бросила. А я разве одна могу! Я и куплю нерасчетливо... я и украду... С саранчей этой совсем голову потеряли. И куда пошла? К заводу. Веселье какое, там ни души нет. Багирка! Сбегай, посмотри, куда она поперлась? В чем душа держится от лихорадки. Лежала бы лучше, каки таки прогулки.

Двухэтажное, широкоразбросанное, запущенное здание завода зияло разбитыми окнами на краснокирпичном теле. К мрачному корпусу примыкала стена, включавшая в свой круг дома с палисадниками, конюшню, сараи, амбары, бараки, все это своим расположением напоминало барскую усадьбу, все это разваливалось. Среди двора высилась водокачка, через весь двор висела труба пневматической передачи. Перед домиком Вильского играли дети. Среди черной россыпи южных головок потомки механика, -- беловолосая поросль славянского племени, -- выделялись бледностью, васильковыми глазами, тонким станом, угловатостью движений. Ребята надрывались в страстном споре на тюркском языке, -- игра была сложная и военная. Таня поманила старшего:

-- Где мама, Сташек?

-- На саранче. Туда все, и милиция ушла. На заводе никого, только мы, дети. Я даже пожара боюсь, -- закончил он серьезно, повторяя чьи-то слова.

Таня улыбнулась, пошла к тополям, за которыми белел флигелек Веремеенко. В зеленом гроте оказалось тихо и влажно от распаренного древесного дыхания. Багир видел, как она опустилась на скамью, что-то шепча, и сторонкой, сторонкой убрался восвояси. Огненная тишина пылала кругом: белизной блеска на окаменевших листьях, глубокой желтизной песчаной дорожки, крыши и кирпич тлели, словно уголья. В топке знойного дня сгорели все звуки и движения, все скучно выпрямилось и уплощилось на смотру у зноя. Худая, в клокастой шерсти собака, тощий приемыш жалости заводских детей, валялась в тени.

-- Халхалка, Халхалка!

Собака не пошевелинулась.

Бывает, человека, уже истощенного болезнями, неудачами, одиночеством, вдруг хватит окончательное сознание ужаса совершающегося, хотя все, что совершается, не страшнее того, что пережито, подчас неизмеримо мельче, но... но оно настолько дополняет, -- это мелкое, неприятное происшествие, -- совокупность зол, что пораженный человек готов кричать на крик.

-- Когда же, когда мы уедем отсюда! -- простонала она во весь голос.

И весь мир, весь его блеск и сияние, смесь окрасок и температур, -- сплылись и обвалились наискось, как-то в сторону, во всеобъемлющем наплыве слез.

Крейслер застал жену уже тогда, когда они лились спокойно, без всхлипываний. Подойдя сзади, он, однако, по опавшим узким плечам и по тому, как дрожали в ушах длинные из дешевых изумрудов серьги, увидел, в чем дело. Гримаса боли, вспыхнув со дна души, где мнутся заряды самых злых судорог, озарила все его дремучее, толстое лицо. Таня дико вскрикнула: "Кто это?" -- и, обернувшись, улыбнулась жалким ртом.

Он держал в руках обыкновенное конское ведро, обычно наполняемое холодной колодезной водой, но теперь оно шипело каким-то загадочным шуршанием, было наполнено кишением множества живых существ. На чистую желтизну аллеики непрерывно сыпались небольшие насекомые, похожие на кузнечиков, цвета черного пива и оливок. Они отблескивали хитиновыми частями, освещавшими борьбу оттенков бурой светотени, которой природа защищает эту отвратительно копошащуюся жизнь. Падавшие на землю маленькие насекомые резво скакали.

-- Это личинки, Миша?

-- Да. Поменьше второго, побольше третьего возраста.

Таня с трудом поймала хрупкое, рвущееся с неожиданной силой насекомое. Ощутила медный вкус тошноты от отвращения, что их так много, до того много, что можно для забавы таскать ведрами.

-- Они тут, чего доброго, все объедят, -- сказала наивно и смутилась. -- Ну, нет, я знаю, что нет. Я же все твои книжки прочитала. -- И смущалась все больше, хваталась за концы разбегающихся ощущений. -- Как они неприятны, юрки, и кажется, готовы есть песок, скамейку, меня...

-- Это ты зря. Они достаточно прихотливы к пище. Цып-цып-цьга! Цып-цып-цып! -- пронзительным, все повышая до Степанидиных нот, призывом он скликал кур и лил, лил как грязь, сыпал как зерно саранчу.

Куча насекомых лежала, сдавленная собственной тяжестью, но стремительные дуги скачков, коротких, в несколько вершков, уже начинали разрезать скопление насекомых. Набежал петух, вспыхнул рыже, схватил что попало, оглушительно загорланил. Катились куры, припадая к земле, распушив хвосты, гикали, бросались на жирных насекомых, не приближаясь, однако, к почти не таявшей куче, которая их пугала.

-- А там что делается! -- Крейслер показал в сторону Карасуни. -- Сотни людей, лошади, ямы, огонь, зной, ад крошечный. И все бессильно. Она прет. Она прет и уже близко подошла к полям. Не сворачивала, не уклонялась, как мы ее ни сбивали. Отдельную кулижку, конечно, можно повернуть куда угодно, но мы пытались гнать целую колонну. Куда там! Она вышла у излучины реки, где в прошлом году убили молоканина. Это была передовая колонна, не из больших. Ее загоняли в воду, но она никого не послушалась и пошла по берегу. Мы и сами не заметили, как подвели ее к голове другой колонны, значительно большей. Они соединились, а мы со своими ямами, трещотками, воплями отступаем.

Он объяснил, откуда и куда идет саранча. Таня плохо знала течение Карасуни, усвоила только одно, что люди со всеми приспособлениями не властны побороть насекомых или просто уменьшить, частично обезвредить, отклонить прожорливое шествие.

-- Где-то в городах думают, -- человек победит, все победит, природу, смерть, -- сказал он, раскрывая ее мысли. -- А на поверку выходит -- мы с личинками какими-то не можем сладить. Да и как выходить на борьбу, -- все из рук валится, как вспомнишь расхлябанность, разгильдяйство там, в центре. У меня с войны остался нюх, -- не победим мы, нельзя побеждать спустя рукава, как надеются там, в тылу.

Багир подвел оседланного Пахаря. Михаил Михайлович устало принял повод.

-- Куда ты едешь?

-- В Асад-Абад, -- ответил он, дивясь своей забывчивости. -- Разве я тебе не сказал? Экспедиция-то наконец прибыла...

-- Ну, слава, богу! Почему ж ты едешь в Асад-Абад?

-- Поезд не дошел до станции Карасунь. Как раз посередине перегона через полотно со вчерашнего вечера переправляется неожиданная саранча. К счастью, там дичь, нет возделанных полей. И поезд, -- понимаешь, поезд, -- не может взять препятствия. Он врезается в живое тесто, обдаёт паром, состав, некоторое время движется по инерции, колеса скользят и буксуют в раздавленной жирной саранче. Так и не одолели,

вернулись, -- поезд может сойти с рельсов.

Михаил Михайлович произносил это порывисто и безразлично, делая рукой такое движение, словно снимал со лба неуловимый волосок. Таня невольно следила за этим тревожным движением. Муж привалился грудью к лошади, высокий, с широкими крыльями лопаток, к которым прилипла синяя выцветшая рубаха. Горел оплеухами солнца, укусами комаров, медью небритой бороды. Жесты тяжело отставали от речи.

-- Тебе не жарко, Мишка? Смотри!

Опасливое ее замечание едва дошло. Встряхнувшись, он сказал безучастно:

-- Как все из памяти вылезает. Самое ужасное чуть не забыл... Погибла баржа. Неизвестно как... Пошла ко дну при входе в устье. А на ней было три четверти всех ядов, керосина, бензина, аппаратуры.

Сел в седло, подобрал поводья.

-- Миша, я боюсь, у тебя плохой вид. Останься, отдохни.

-- Не могу, Танюша, не проси. Посмотрела бы ты, как работают Эффендиев, пан, Чепурнов, мужики, и наши, и турки, и симбирские за три четвертки хлеба! Не могу, не хочу от них отставать. И мне все кажется, что я брошу когда-нибудь кому-то в морду эту свою усталость и этот, труд! Я вот беглый, но захотел вернуться и могу смотреть им прямо в глаза. Я исцелен от неуверенности, от опасений, от всей кислоты. Я уже не боюсь, когда, по привычке попугать; грозит наганом Эффендиев. Теперь мне противно подумать, что еще не так давно у меня были бесчестные мысли и намерения: уклониться от всего, удрать, сидеть и не рыпаться в глуши.

Наклонился, поднял ее с земли, поцеловал. И уехал, оставив жене смятение и обиду, что один, без ее ведома и помощи меняет всю свою жизнь, весь строй мыслей. Она чувствовала боль и неудобство под мышками от резкого его объятия. Ей показалось, что она никогда терпеть не могла этой грубой силы, невнимания к ее слабости. Эта бесцеремонная замкнутость оскорбляла ее. Раньше, когда была жива дочь, хлопоты с маленьким живым человеком, завоевание его сердца и привязанности наполняли душу молодой женщины, ей было часто не до мужа. Но теперь она хотела остаться наедине с его любовью, единственным, что осталось. Неистовый птичий хор прервал ее огорчения, заставил оглянуться: куры, целая орда кур щипала растекавшуюся по песку саранчовую кучу.

Проходя мимо дома пана Вильского, Таня услышала детский плач и крикливую ругань Марии Ивановны. Там происходила очередная расправа. Ругань пресеклась, осталось заглушённое хныканье, и сладкий голос окликнул Таню:

-- Доброе здоровье, Татьяна Александровна. Смотрю я на вас, -- чистая, непорочная, и каждый ваш шаг других осуждает. Вот, мол, она детей сечет. А они мне сколько лет покою не давали? Чуть что, нате, лезет! И все в пана, -- белые, худущие. Вот... только третий годок отдыхаю. Как это вы устраиваетесь?

-- Я бы детей своих не била, -- сухо ответила Таня.

## Глава седьмая

I

-- Мишка! Колбасник!

Крейслер едва успел отозваться: "Анатолий!" -- вихрь восклицаний, смерч перехватываемых объятий, поцелуи вбок, мимо щеки (Муханов все норовил попасть влажным ртом в губы), -- все это налетело вмиг, и, не ведая, как отбиться, Михаил Михайлович подчинился.

-- Ну, как дела, Миша? Как дела, друг? Дела, как у Саввы Морозова, только труба пониже да дым пожиже. Так, что ль? Так, что ли, колбасник?

Крейслеру горло перехватило тоской. И это Толя Муханов. Кому он подражает, ярославскому мужичку? Или без этого он боится, что встреча покажется недостаточно демократичной и слишком холодной? Никто никогда в гимназии не звал Крейслера колбасником. И что за пошлая развязность -- разливаться неестественными выкриками, не заботясь о слушателе этого натянутого балагурства! Этого Толю

воспитывали с гувернантками, -- правда, они всегда жили только напоказ, еле прикрывая бедность нанимавшей их семьи... И тут как бы тень набежала на глаза, глядя на смутно знакомое лицо, выступившее, так сказать, из мглы былого, возмужавшее очень и очень потертое, похожее на оббитое яблоко, хранящее памятные с юности фамильные мухановские черты, тупо обрубленный короткий нос, слабоцветные серые глаза под крутым бараньим лбом, крепко собранный рот, -- глядя на него, и Крейслер поджал губы.

-- Какие же у нас дела! Положение ужасное... с вашей помощью...

Муханов слабо вспыхнул, зарделись большие уши, -- э, да ты вон какой стал, колбасник! И о резко, с неприятной поспешностью, подобрался, отступил.

-- Ты, верно, Миша, знаешь о нашем... На той злосчастной барже было почти на сотню тысяч рублей груза, а теперь ему и вовсе цены нет, не достанешь... Причина гибели более или менее ясна: баржа была очень ветха, с четырнадцатого года не ремонтировалась, а ведь у нас тут на судах хозяйничали и белые, и красные, и мусаватисты, и англичане. Карты у капитана оказались допотопные, ропитовские... В туманный ветреный вечер мы остановились у самого устья. Вызываем лоцманов, никто не едет, ни души. Ветер расходится, разводит волну. Оставаться, имея на буксире баржу, на мелком месте безрассудно. Капитан решил продолжать путь. На этом настаивал и глава экспедиции, Тер-Погосов. Тронулись, пошли. И вдруг нам кричат: "Тонем!" В чем дело -- установит следствие. Там были такие яды, которые мы шарили по всему югу России, от Феодосии до Астрахани. Местный Совнарком ассигновал нам на закупку щедро, хотя и запаздывал...

-- А я здесь задыхаюсь без денег.

-- У них всегда так. Я достал изумительный локустисид, меласса и мышьяковистый натр -- такой состав, что пальчики оближешь.

Он сбился на прежний тон. Крейслер безучастно глядел перед собой на жалкий пейзаж захолустной станции. Разбитый по всем швам, во все дыры шипевший паром паровоз толкал по путям состав, очевидно, тот, с которым прибыл саранчовый отряд. Растериваемый пар досягал мокрым жаром до платформы. За полотном, окаймленным чахлыми, -- в пору тундре, -- деревьями... Михаил Михайлович вздохнул и в мгновение перестал все видеть.

-- Сгружать! Сгружать! -- крикнул кто-то.

Из-за пакгаузов, прыгая по шпалам, приближался коренастый, как сноп, Веремиенко, в суровой парусине, в высоких сапогах, улыбался, помахивал рукой. Наперерез ему из дверей вокзала выбежал неслышной поступью Эффендиев, пепельный, словно заверть дорожной пыли, волочил нагайку, за которой, словно привязанный, едва поспедал начальник станции.

-- Единственное его оправдание, что в ваших водах лет пять не было ни одного судна. Впрочем, я его арестовал.

-- Кого?

-- Капитана, разумеется.

-- Сгружать, сгружать! -- кричал Веремиенко.

Эффендиев остановился круто, начальник станции едва не толкнул его в спину, хриплый шепот прошипел по всей длине платформы:

-- Что сгружать, сука, когда вы не сумели сберечь груза? Муханов словно не слышал, но еще ровнее и неуловимо громче (несомненно, громче) продолжал сообщать Крейслеру:

-- Парижская зелень. Мы купали ее, будь она проклята, по невысказанной цене. Мышьяка под конец уже не было на рынке. Отруби для приманки, патока, каустическая сода, серое мыло... По нынешним-то временам! Есть от чего голову потерять! Если капитана не расстреляют, я буду удивлен, хотя и рад, -- я не люблю крови.

Он содрогнулся, закашлялся, стал закуривать папиросу -- руки его дрожали -- и, как в забвении, повторил:

-- Я арестовал капитана.

-- А все-таки что-нибудь привезли? -- резко спросил Эффендиев, ни с кем не здороваясь.

Муханов не повернулся к нему, но почти по-военному четко начал рапортовать Крейслеру об аппаратах-сжигателях, выполненных по его проекту, об остатках ядов и горючего, уцелевших на пароходе.

-- Сделаем, что в наших силах, мы -- не боги. Механическая борьба не обещает большого успеха, но нельзя опускать руки. И, как насмешку, мы привезли штук семьдесят ранцевых опрыскивателей "Аутомакс", -- превосходные, -- одиннадцать конных "Верморелей" да два "Платца".

-- Ядов-то, неужели ничего не осталось?

Муханов -- Крейслеру:

-- Сущие пустяки. Попрыскаем, сколько хватит. Думаю, это капля в море. Тер-Погосов с тем же пароходом отправился обратно. Может, дошлет что-нибудь.

В тот же день Муханов объехал места, где началась борьба. Осматривал довольно лениво, хотя и тянул инструкторов. Вечером в конторе завода он в присутствии Эффендиева, Веремиенко, пана и разведчиков сухо заметил Крейслеру:

-- Жидковато организовано. В особенности на периферии, у завода и у Черноречья вы сделали все, что могли. Я читал твои доклады, -- это ученые сочинения и свод соображений. А нам нужны меры.

-- Меры? -- ехидно переспросил Эффендиев. -- Меры под водой. А теперь командуйте, главнокомандующий. Рядовые сделали все.

## II

"Фордик" гремел на весь двор на холостом ходу. Приехавшие ждали встречи. Нетерпеливо рывкал гудок. Никто не отзывался. Трое в автомобиле переглядывались. Таня поспешно кончала одеваться, наблюдая сквозь тюлевую занавеску. У руля сидел инженер Траянов. За белесой оградой плетенья казались необыкновенно смешными изумленные лица прибывших. И она перестала спешить, с удовольствием слушая рев гудка. Секунда за секундой он становился резче, пока наконец не заполнил всю окрестность. Связывая в пучок волосы, Таня вперилась в женщину, сидевшую в автомобиле. Это была смуглая брюнетка, с чертами лица румына-скрипача. Она неподвижно уставилась на ступеньки крыльца; в ее тяжелом взгляде было желание чуда: сжечь, испепелить невнимательного хозяина, когда он появится из двери. Рядом с дамой юлил толстый коротенький мужчина в котелке. В котелке! При температуре тридцать пять в тени! Котелок и лицо толстяка посерели от пыли. По серому лицу шли разводы, черные и багрово-красные: черные прокладывались потоками пота, красные -- это был настоящий цвет кожи, грунт ожирелой городской образины.

Таня вышла. С рук приехавшей соскочила собачка, взметая песок, встала на дыбы, залилась сиплым лаем. Хозяйка спокойно развязывала синий шарф: приехали. Траянов вышел из машины, представил спутников:

-- Мальвина Моисеевна и Осип Александрович Бродины. Я встретил их по дороге и подвез. Мы имеем удовольствие быть знакомыми несколько раньше. Осип Александрович прибыл из Облкино для съемок саранчи.

Бродин распахнул дорожное пальто, широко обнажив серый жилет, под которым катался круглый живот, и вытащил удостоверение. Потом смутился, спрятал. Супруга, не выходя из автомобиля, сунула руку в сторону Тани, ожидая, когда подойдут для пожатия. Траянов заглушил мотор. Во дворе осталось только рычание и бешеный лай собачки, забившейся под колеса. Осип Александрович робко предложил:

-- Можно высаживаться, Мальвиночка.

Она двинула бровями, приказала подать Лильку, которая заскулила, удрученная всем происходящим.

К вечеру во дворе появились два ишака, нагруженные багажом киносюжетаев, и помощник Бродина, долговязый восемнадцатилетний парень, которого все звали Славкой.

Весь день Таня устраивала приезжих. Муханов жил у Веремиенко. Траянов поселился в кабинете у Крейслера. Бродиных направили к Вильским. Славка заявил, что будет ночевать в автомобиле.

Вечером пришлось поить всех чаем. Мужчины пришли веселые, бодрые, с разговорами об отравленных отрубях, которые превосходно действуют. Сжигательные аппараты тоже пригодились. Эффендиев согнал всю округу, рабочих рук оказалось так много, что даже канавы и волокуши производили некоторое действие. "Унтер" криво отражал видимое, от него было жарко, как на солнцепеке, но из окон, затянутых сетками, сочилась прохлада и дальний шум. Славка выпил семь стаканов чая и съел три фунта хлеба. Сало достал из кармана, гремевшего ключами и инструментами. Юноша удивил необыкновенным аппетитом и самоуверенностью. К тому же он успел сообщить, что, подработав на этой киноэкспедиции и вернувшись, женится.

-- Вам восемнадцать лет. Мы в ваше время... -- начал вяло и насмешливо Муханов.

-- Знаю, что вы затрубите, слышали! -- прервал его Славка. -- В наше время для мальчишек легкомысленных замужних дамочек не припасено. Нам и вкус адюльтера не известен.

Все оторопели. Славка победоносно заявил Бродину:

-- Потопали, хозяйева, спать! У нас нервы городские.

Крейслер удержал Мальвину Моисеевну:

-- Посидите, я вас провожу.

Та прижала заворчавшую Лильку и кокетливо обнажила маслянистое плечо. Муханов лениво острил, вспоминая названия селений:

-- Все какие-то Рустемы и Зорабы кругом, словно Жуковского проходишь.

Таня громко смеялась. Веремиенко сидел черный. Траянов беседовал с Эффендиевым, никто не заметил, как в их углу разгорелся спор.

-- Да, широко, исторически она вас, как нацию, и угнетала. Но вы-то лично должны быть этой культуре благодарны. Жертвами военного коммунизма средняя, центральная Россия, та самая, которая угнетала, а теперь ведет к социализму, -- она расплатилась со всеми. Да и может ли культура угнетать? Придется сузить вопрос, свести к государственности.

Но тут Эффендиев встал и, совершенно неучтиво сославшись на благоразумие предшествовавших товарищей, заявил, что уходит спать. Старик, растерянно улыбаясь, придвинулся к столу. Крейслер поймал его смущенный взгляд.

-- Вам трудно освоиться с растущими новыми отношениями, -- шутливо сказал он. -- Простота, -- не желают выслушивать до конца то, что кажется несущественным. Мы же с вами тревожимся другими мыслями, и то, что вы сказали, мне очень близко. Что привело меня в Россию и что удерживает теперь здесь, в удручающей нищете, в дьявольской работе без отдыха и срока, ответственной, неблагодарной? До границы тридцать верст, скарба у нас -- в охапке унести можно, так что же привязывает? То, у чего нет ни веса, ни меры, -- желание участвовать.

-- Это твое участие дорого стоит. Не люблю, когда оправдывают то, что навязано, что фактически переносишь с трудом.

Михаил Михайлович удивленно поднял брови. Жена сердито гремела посудой, струя кипятка била в полоскательницу тоже как будто с гневом. Мальвина Моисеевна понимающе скалила зубы.

-- Правильно, Татьяна Александровна! Что тут голову морочить, -- вмешался Веремиенко. -- Денег нет, а то мы и в Мешедде каком-нибудь жили бы веселее, чем здесь. А уж спокойнее-то во всяком случае.

Эта странная заинтересованность, сгустившая туманную фразу Траянова до призыва высказаться о личной судьбе, разогнала дремоту даже в полуприкрытых веках Муханова. Он заговорил, слушая себя:

-- Количество и качество общих, так сказать, кардинальных идей о жизни и человечестве, обращающихся сейчас в России, поразительно огромно. Они углублены и заострены, они ранят и убивают. Интеллигент, обыватель, рабочий, любой советский гражданин мыслит, можно сказать, парит мыслями, готов за идею на костер, становится к стенке, идет в изгнание. Мы с этой стороны превосходим Запад с его практицизмом и мелкими делами. Но, думая о будущем устройстве человечества, мы никогда, даже в нашей грубой стране,

не доходили до такого презрения к человеку, невнимания к его нуждам. И в конце концов, чего мы хотим? Мы хотим только того, что убийственно медленно, хотя и органично делается в Америке, в Европе. Мы хотим освободить плоть человека. Две тысячи лет понадобилось, чтобы одолеть вражду христианства к цивилизации Рима, к столь человеческой, заботливой о бедном человеческом теле. Там, на Западе, начинают с внедрения автомобиля и ванны, а мы -- с освобождения брака...

Тане было непонятно, где в его полысевшей голове гнездятся такие мысли, откуда появилась живость. Он поигрывал обрывком веревки, делая петлю и затягивая запястье, словно казнил кулак. Заметив, что Таня смотрит, сразу бросил забаву, как будто испугавшись.

-- Но какое душевное напряжение, сколько труда, сколько крови требуется, чтобы дать возможность сносно жить этой человеческой массе, -- сказал Крейслер. -- И я жить хочу, и работать хочу. И могу. Я заблуждался, может быть, блудил. Но теперь, показав верный путь, дайте мне пойти по нему...

-- Что ты нас просишь, когда ушел единственный коммунист из комнаты, пусть он и дает, это по его адресу...

Горячность Крейслера нагнала на Муханова прежнюю скуку, Все стали прощаться. Траянов задержался, сказал вслед Муханову:

-- Облезлый он какой-то. Человек может жить или патетической верой, или ненавистью. Некоторые пробуют жить наигранной иронией. Нет, я предпочитаю татарскую грубость этому наигрышу и сплину. Он очень малодушен и труслив, не умеет отнестись к себе как к постороннему, объективно: мысленно поставить себя в среду и посмотреть, как это выглядит. Такие люди легко зарываются. И страстишки его разъели, источили.

Михаил Михайлович пошел с Мальвиной Моисеевной, пропал около часа, вернувшись, щурился на свет полупьяными подслеповатыми глазами. Губы его припухли, покраснели. Таня почувствовала свое тело пугающе легким, томным мыслям не было ни имени, ни определения: она только спрашивала себя, как она еще жива? Но обратиться к мужу хоть с каким-нибудь упреком у нее не хватило сил. Он ответил бы чем-нибудь насмешливым. Да и в самом деле, что могло быть в тополевой аллее с едва знакомой женщиной?

Наехали люди, нашумели, затолкали и, как в толпе, окончательно оттерли, оттеснили ее от мужа. словно сговорившись, наперебой произносят интересные речи, он спорит с ними, а не с ней, хотя она его прямо вызывает. Конечно, она больна, слаба, нервна, она выговорилась, он ее знает вдоль и поперек. А та налита чувственностью, жиром, мужчины это любят. А краски у нее на лице, а брови, а усики! Недаром они говорят о плоти и о свободном браке. Таня взяла обожженную спичку, подвела глаза и искусала почти в кровь губы. Из зеркала на нее поглядел бледный призрак, злой и некрасивый, с кровавым ртом.

### III

Утром Таня проснулась позже мужа, с горлом, как бы раздраженным-длинными разговорами, -- это, по всей вероятности, накопились слова, которые она не могла сказать вчера. Теперь тревоги, при свете голубого неба за зеленым платаном, показались нездоровыми. Но ведь это же правда, что се болезнь отягчает и без того нелегкую жизнь мужа. Разве такая жена помощница, она -- обуза. Дай она детей, семью, навали на него новых обязанностей; вот и стала бы дорогой, неотрывной. Ей захотелось плакать, но эти размышления были все же выносимее вчерашних тревог по пустякам. Так и принуждала себя подумать: по пустякам. И когда пришел Михаил Михайлович, позвал посмотреть на работы, Таня застыдилась и подозрений, и своей мелочности.

-- Ты так в ад за грехи попадешь, -- сказал он, смеясь принужденно.

-- Может быть, пригласим мадам Бродину?

Он помедлил какую-то йоту времени.

-- Да она отказывается. Говорит, что от солнца веснушки...

Уже два дня ад, слышно было, приближался к заводу, погромыхая, как дальняя невидимая туча, гулом борьбы. Три грузовика, подводы с бочками для керосина тархтели по шоссе к станции. Ржали испуганные

лошади, щелкали кнуты. Подростки со всей округи рвали трещотками и колотушками жгучую тишину, обычно кисшую над болотистыми берегами Карасуни. Женщины цепями били по земле ползущую саранчу. Именно этот глухой мертвенный звук молотьбы торжествовал над всеми оживленными, веселыми шумами сражения. Уступив бабам легкую работу, ругались и командовали ими мужики, копая канавы. Скрипели катки и конные аппараты-опрыскиватели, гремели ведра, однообразно рвались понуканья, -- изнемогшие лошади шли плохо. Все это, слитое в мощное бормотание грома, ползло вместе с саранчой к заводу, до которого оставалось версты две. Михаил Михайлович бережно поддерживал жену под локоть.

-- Через два-три дня будет у нас в гостях. Сейчас "она" (здесь врага по-военному называли местоимением) приостанавливается отдохнуть: жарко.

Таня оглянулась назад. Красные крыши завода приветливо и отдаленно сияли ей, мирные, как Голландия. Оттуда прямо полем спешили кинооператоры и Муханов.

-- Анатолий показывает товар лицом, увековечивает. Только на это его и хватает. Я даже удивляюсь, когда он успел стать знающим энтомологом. Он и агрономы-то пошел из дворянской блажи.

Она промолчала. Михаил Михайлович обвинял:

-- Фактически борьба ведется только у нас. Он прекратил объезды района. Не был ни на Чертанкуле, ни в Михайловке. Показался кое-где, -- требуют ядов, снаряженья. Отказывает, -- грозят. Он прямо сознался, что боится.

-- Ты хочешь его опорочить в моем мнении.

Крейслер проглотил сухое замечание. Они уже входили в полосу сражения. Повсюду, куда ни попадал взгляд, десятки, сотни людей копошились, защищаясь. Откуда только из пустынных окрестностей набралось столько народа? Хохлы белели рубахами, широкими шляпами, молокане походили на мастеровых, голые туземцы, как суслики, копались в земле, бабы, в ситце и лохмотьях, зажиточные и нищие, одинаково изможденные и загорелые, работали, не глядя на мимо идущих, не отирая даже пота. В этом труде мрело отчаяние. Они пять суток травят "ее", роют могилы, она мрет и плотно наполняет ямы, и -- не уменьшается, прибывает. Справа и слева от дороги тянулось, подступая к самым обочинам, пшеничное поле. Слева нетронутые колосья, поседев, начинали золотиться. А справа, там, куда наступала саранча, лежала смятая, побитая солома. По ней катались бочки аппаратов, разбрызгивая отраву, по ней рыли канавы, по ней передвигалось бесчисленное количество людей и животных.

-- Шестьсот десятин! -- сказал, горестно покашливая, Михаил Михайлович. -- Представь себе, она не трогает хлопка.

Сообщения проникали в сознание Тани как сквозь дым. Томная усталость от жары поднималась в ней как туман, все обесцвечивая. По рассказам представлялось величественнее и ужаснее. Действительность явилась тяжелее и скучнее. Тяжкая сонливость висела над головой. Так человек, заблудившись в знойном болотистом перелеске, отравленный испарениями, утраченный зыбкостью почвы, готовый расступиться зловонной пропастью, испытывает отвращение к жизни, бесславно гибнущей среди трясин. Крейслер говорил о тех временах, когда саранча несметными количествами на неоглядных пространствах отрождалась в безлюдной природе, об инстинктах, которые она вынесла из седой древности.

-- Земледелие се убивает, но иногда она убивает земледелие, -- сказал Михаил Михайлович.

Таня прижалась к его руке сухой грудью. Они углублялись во владения саранчи. Белая пыль шоссе была запорошена раздавленными и живыми личинками. Живые отпрыгивали: в одиночку саранча пуглива. То, что Таня принимала за бурные, мятые останки пшеницы, и было тем, что все называли "она". Она шелестела. Воздух наполнялся шумом копошенья, как будто вся земля оползала медленно и непрерывно сухим прахом. Так шипят барханы и дюны. Слух Тани открылся нестерпимому звуку, победившему страх перед словами. Таня чутко различала звучания, -- такого она никогда не слыхивала. Звон тонких прикосновений, еле различимой суеты, быть может, прожорливых челюстей надвигался на грохот позади. Саранчовый шум приземлялся, полз, как змея.

Они свернули с дороги на поле. Таня остановилась в сероватом живом тесте выше щиколотки.

-- Я не могу ступить, это отвратительно.

Бесчисленные касанья, щекотанье скачков куда-то под подол, легкое попарापыванье по коже, душу мутящее ощущение раздавливания, все это ошеломило Таню до столбняка. Михаил Михайлович взял жену за талию повлек в глубь живого сухого потока. С каждым шагом он становился как будто глубже.

-- Не надо, пусти меня, -- лепетала Таня, содрогаясь.

Он упорно повторял:

-- Я хочу показать, как ее истребляют. Мне будет приятно показать, как она гибнет, проклятая.

Поборов себя, она зашагала, высоко поднимая ноги. Михаил Михайлович вел ее к ловчим ямам. Пришлось пройти сажен сто поперек всего расположения.

-- В эту колонну сбита саранча из сотен мелких отрядов и кулиг. Она выходила от реки, фронтом версты на четыре. Канавы мы ведем от самой Карасуни, вбили в них тысяч тридцать пудов саранчи.

О, эти количества! Он показывал небольшие, свеженасыпанные бугры.

-- Это засыпанные колодцы, наполненные саранчой. Ее сгребают, утрамбовывают, жгут. Сейчас увидишь.

Мимо проехал каток, вроде тех, которыми уравнивают площадки для подвижных игр. Верхом на одной из пары понурых лошадей сидел невеселый мальчуган. Давя, он прокладывал широкий след, зеленую дорожку аршина в полтора шириной из копошащейся слизи, но полосу тотчас же затягивало живыми личинками, как будто ее и не было.

-- Идем за ним.

В то время, когда она была уверена, что ничего более противного и отвратительного не увидит, не услышит, не почувствует, -- ослепительный воздух колыхнулся, ударил таким зловонием, что она отшатнулась, закрыла глаза. Муж не заметил, тянул за руку прямо к источнику запаха, зеленые и, как ей казалось, смертные волны которого катились навстречу. Они катились от небольшой толпы, в которой Таня заметила старика инженера и пробковый шлем Муханова. Там были конечные ямы, там жгли саранчу. Изнурительный труд истреблять неистощимое количество насекомых канавами раздражал людей своей явной бесплодностью. Таня только что миновала тыл, там нависало отчаяние. Но здесь властвовало ожесточение. Оно вело стойких и выносливых к самому сгущению саранчовой колонны -- с ямами, с огнем, хоть с голыми руками, но удержать, истребить это чудовищное множество. Ожесточение захватывало даже тех, кто не принимал в борьбе участия. Таня на себе ощутила это горячее веянье. Над головами возвышался треног киносъемочного аппарата, под ним висело красное, как кусок солонины, лицо Бродина. Он не переставая вертел ручку. Бледный Муханов вышел навстречу Крейслерам. Кроличьи глаза Веремеенко горели за его спиной. Яму только что наполнили четверо парней в лохмотьях, -- у двоих плечи были в волдырях, -- лопатами уравнивали копошащуюся поверхность, на которой тускло играло зеленоватое солнце. Высокий пожилой беженец, -- Крейслер узнал Маракушева, -- приставал к Муханову:

-- Где же, товарищи, ваши еропланы? Где отрава, чтобы ее сничтожить? Печатать листки вы горазды, а на деле видать мало.

-- Дед, ты гляди, как жгут, а под руку не талдычь! -- Муханов любил простонародные словечки. -- Всегда найдутся такие, что каркают над всяким делом.

Инженер Траянов шептал что-то Михаилу Михайловичу. Тот с беспокойством поглядывал по сторонам.

-- Я забраковал бы три четверти сжигателей. Некоторые сделаны настолько небрежно, что начинали протекать, как только в них наливали керосин, -- шептал Траянов.

Рослый молодой мужик в мешке, крепко ставя жестоко расчесанные ноги, вышел с аппаратом к яме. Худое, жесткое лицо его кривилось веселой злобой. Керосиновый бак висел у него за спиной, сбоку змеилась трубка, из распылителя било сдерживаемое пламя. Мужик знал, что его снимают для живых картин, входил в ярость. Направив струю огня на саранчу, он оставлял после своих губительных движений пенящуюся и тлеющую массу, под которой надлежало погибнуть всей яме. Эта пена полусожженного жира разлагалась в два-три часа, душила вонью даже сквозь толстый слой земляной насыпи. Выпуклое око объектива медленно повертывалось за сжигателем. Бродин кричал:

-- Раздайте круг, граждане! Мне нужна каждая крошка света!

Мужики любопытствовали и веселились, к редкому зрелищу толпа прибывала.

-- Покажи работу, Иван Степаныч!

Старик Маракушев чуть не обжигался, подставляясь так, чтобы попасть на картину вместе с сыном. Вдруг -- Таня ясно видело это, -- огонь судорожно метнулся, померк, раздался негромкий, похожий на вздох омота взрыв. Все отшатнулись, не сделал ни шагу. Молодой Маракушев мгновенно превратился в столб пламени. Он закричал, шумное пламя заглушило его. Попытался сорвать с себя огненное одеяние, голые руки вырвались в сторону. Бросился вперед, лицо как будто проступило из огня. Столб осел, качнулся: мужик упал в яму. Пылающий керосин лился с него, растекаясь, как лужа. Стоял мертвый стук снимавшего аппарата, Бродин вертел ручку.

Таня успела увидеть, как муж бросился к брезенту, схватил за край и, сбрасывая отруби, потянул к пылающей яме. Траянов, Славка кинулись на помощь. Таня услышала чье-то голошенье, истошный вопль. Резкая темнота обморока обрушилась на нее.

#### IV

Она ощутила холод компресса над бровями и сразу погрузилась в такие же холодные Отзвуки глухого спора за стеной. В спальне, в полумраке от спущенных занавесок, неслышно метался из угла в угол огромный, встревоженный Михаил Михайлович и каждый раз, равняясь с изголовьем, вглядывался в помертвелое лицо жены.

-- Очнулась, да? Ничего? Испугалась, бедная...

Муж шепотом произносил торопливые, беспокойные слова, теплые губы поползли по ее щеке.

-- Он погиб?

Ее вынесло из другого существования, отягченного немислимыми ужасами, через пропасть бесформенного мрака, в который ввергают сознание искупать преступление, не искупимое ничем. Этот мрак равен смерти. Самое исцеление от него не дает радости. В уютной полутемной прохладе она не имеет права забывать о том страшном прошлом.

Михаил Михайлович кивнул головой.

Спор за стеной рос, как бы приближался, словно шуршание бора, охватываемого дождем и бурей. Кто-то кричал тонким напряженным голосом:

-- Одного этого достаточно, чтобы назначить строжайшее расследование! Я, как инженер, заявляю ("Траянов", -- думает Таня), что ваши аппараты не выдержат и двух атмосфер. Их никто не испытывал и так пустили в работу.

В гуле передвигаемых стульев, поспешных шагов слышно: "Не будьте голословны!" Крейслер хрипит: "Мерзавцы!" Хрип рвется в другую комнату. Таня понимает, что ее обморок и слабость по сравнению с происшествием на поле незначительны. Она обижается, но обида ее легка. Все легко после тех ужасов. Вырывается крик Муханова:

-- Вы почитайте сводки о борьбе с саранчой в Туркестане! Там такие же взрывы бывали с аппаратами немецких фирм.

Лихорадочные, нерусские, страстные, как клятва, восклицания Эффендиева прерывают тягучие вопли Муханова:

-- Возмутил всех! Что вы сделали с рабочими? Побьют нас лопатами, будут правы! Привозят такое, жгут живых людей. Расстреляю! Найду и расстреляю! Молчать! -- кричит он на кого-то, начавшего возражать, -- на Вермиенко, вероятно.

-- При такой постановке вопроса, при полном недоверии и запугиванье я прекращаю разговор, -- заявляет Муханов.

Лилька скатилась на пол, залилась сопливым лаем. Таня изнеможенно посмотрела на мужа.

-- И мадам Бродина там... Дом полон чужими людьми... -- Она что-то вспомнила. -- Неужели Бродин снял все до конца... как горел человек...

-- Ему чуть не пришлось плохо. Но я даже уважаю характер этого дурака, он исполнял свою обязанность...

Осторожно постучавшись, вошел Муханов, красный, со слипшимися волосами, уши как в крови.

-- Пришли в себя, милая Татьяна Александровна? Я услышал ваши голоса.

Явно он сбежал от собеседников. Таня судорожно дернулась, погружаясь в приторную сладость этой неестественной, как все, что исходило от Муханова, вежливости. Сладость подступала к горлу, склеивала пальцы, но сам Анатолий Борисович легко выплывал из нее. Тревожно и зло он говорил Крейслеру:

-- Трагический узел. Все против меня. Пошли людей готовить из конского навоза приманку. Там есть остатки парижской зелени, которую доставил толстый Бухбиндер. Ах, зачем утонула эта баржа! Я готов пустить себе пулю в лоб.

Он отяжелял жалобами самый воздух. Он потягивался. Он извивался. Он заводил глаза к потолку. Он расселся на единственном стуле у постели, уверенный, что сюда не зайдут.

Он блаженствовал в тишине и полумраке. Он надеялся, что никто не посмеет побеспокоить больную, не явится приставать к нему. И, подчиненный страстному желанию передать свою тревогу другому, Анатолий Борисович подsunул пальцы под бессильную ладонь Тани, лежавшую на одеяле.

-- Посмотрите, какие у меня ледяные руки.

-- Уходи вон отсюда!

Веремиенко захохотал в дверях:

-- Правильно, Михаил Михайлович!

## Глава восьмая

I

Крейслер и Траянов стояли у стены завода. Лагерь защиты расположился во дворе, это были остатки, беженцы. Крестьяне-туземцы, утомленные бесплодным трудом, дезертировали по селениям. Саранча подступила к стене, перемахивала через нее, как солдаты по телам павших товарищей. Огромные вороха трупов и живых личинок сбились у стены, медленный поток неуклонно шел через нее.

-- Горят люди, дохнут отравленные куры и бараны. Она объедает шерсть даже на мертвых овцах.

Михаила Михайловича ела тоска усталости. Закат растекался по плоскому горизонту, как помидор на тарелке. Лень и ломота похмелья. Двор шумел, шумел за спиной, отзываясь болью в голове.

-- Белье-то сьмай, Багирка, белье! Сожрала, проклятая, мокрую простыню да полотенце.

Траянов мигал воспаленными, как закат, веками.

-- Михаил Михайлович, здесь преступление... Здесь тучи преступлений. Я приехал специально проверить один факт. У Саранчовой экспедиции, я узнал, есть аппараты "Платца". "Платцы" эти -- мои, то есть моей конторы. Их отняли два месяца назад, помните, когда вы у меня были, я расспрашивал про Тер-Погосова?

-- Помню, конечно, помню.

-- По моим сведениям, аппараты попали в частные руки, проданы с аукциона. Я был сегодня на станции. "Платцы" -- мои. Здесь темные комбинации.

Волнение не передавалось Крейслеру. Он наблюдал, как лениво ползла саранча, ему начинало казаться, что она продвигается сквозь него, лезет в уши, в ноздри, в глаза, почесывает и раздражает каждый участок кожи, каждую жилку. Нестерпимо зудели ногти. Жалили комары, слепни, приведенные с болота лошадьми.

-- Земля истребляет нас. Наслала личинок, мы обессилели. Начинаешь верить в разгневанного еврейского

бога, кажется, -- это он пошел против тебя.

Крейслер наклонился, поднял крупную, в полпальца, личинку, вялую и сонную.

-- Это пятый возраст. Скоро она будет окрыляться. В два-три дня она подыметя и улетит. Она погубила нас, в будущем году погубит других.

Саранча лилась во двор. Неистребимая и неуклонная, искала пищи и влаги для своей неначерпаемой утробы. Слитная, как одно тело, и упругая всепроницающая масса растекалась повсюду, заполнила двор, дом, служебные постройки.

-- Что, что вы сказали? -- Крейслер прикусил губу, выводя себя из тягучей сонливости и возвращаясь к Траянову. -- Преступления? Какие преступления? Я подозревал и все время гнал от себя... Ведь это и против меня лично. Что я буду делать здесь, без хлеба, без хлопка, не справился с саранчой...

Таня бродила по дому. Происходившее напоминало оспу. Все тело покрыто маленькими разрядами чесотки и липким жаром. Саранча скакала, прыгала по мебели. Ее ждали несколько недель, -- вот она. День был так длинен, что его, как жизнь, не заметили. Зной, которым докипала вселенная, не давал закрывать окна. Саранча проела кисею сеток от москитов и комаров. Ей было мало окон, дверей, она валилась в неожиданные отверстия сверху, как будто само небо раздражается ею, выползала из щелей, словно ею начинены камни строения, произрастала из земли, вылезая через пол, заводилась в утвари. Не заметили, как за вечерело. И когда за вечерело, саранча успокоилась, развалившись по-хозяйски.

Ужинали молча, Крейслеры, Траянов, киносемейство. Длинноногий, голенастый Славка за два дня превратился в истощенного, худого мужчину. Он не балагурил, помалкивал, не сводя янтарных глаз с электрической лампочки. Муханов отказался, посидел в столовой, ушел домой, во флигель Веремиеенко. На кухне ругалась. Степанида:

-- Да что же это такое за сатана! Не продыхнешь от нее. Подавала и кебаб с саранчой, и кашу, и тарелки, жгла ее в топке плиты, обваривала кипятком, -- безуспешно.

## II

Вечер истлел, погас, запорошенный остановившейся саранчой, как пеплом вулканического извержения. Четвертый возраст остановился линять. Колонна, середина которой покрывала завод, головой уже достигала садов Черноречья. Село волновалось борьбой. Беспokoйно шуршали метлы, били цепи, вальки, -- удары походили на вздохи, -- в наивной надежде спасти свой двор. Из усадьбы в усадьбу кочевали тени и утомленные восклицания. Девки таскали в курятник кур, обожравшихся насекомыми и лежавших без движения.

Под полотняным навесом на крыше дома Бухбиндерова мерещились люди. Лампа, облепленная мошкаррой, едва освещала сама себя, едва наполняла желтизной пузырь. На утлом столе белели тарелки и руки. Внизу расстился пустынный внутренний дворик, глотая свет. В освещенных окнах аптеки мельтешился вдохновенный Бухбиндер.

-- Дрянь какую-нибудь продает, будто бы для отравы! До чего жадный еврей. У нас, поляков, есть про то пословица...

Где-то тонко выла собака. Тревожно задремывало село. Склянки дребезжали в аптеке, и глухо взлетали снизу заклинания хозяина. Лампа таяла, как кусок коровьего масла, облепленная тяжелым вечером, обложенная густой темнотой навеса, под которым застыл воздух. Пан почувствовал, что скуку этого вечера не проломить никакими изречениями бледной его родины, и сдался молчанию. Веремиеенко сопел так же угрюмо, как до и во время речи. И вдруг встал. Привскочил. Серая фигура показалась готовой к прыжку. Шарил бутылку, как в бреду, не находил и, видно, испугался. Наконец, горлышко заляскало о край стакана. Булькало в стакан, булькало в глотку.

-- Скучаю по ней, пан, скучаю, -- места не нахожу. Пью, а она перехватывает горло, как веревка вокруг шеи. Ее уносили третьего дня с поля, испугалась, как сгорел этот... лежит на руках, бледная как смерть, и сквозь веки -- синие глаза... У меня по сердцу полоснуло, не умерла ли? И веришь, пан, -- светло... день такой, что

взглянуть от солнца некуда, кажется, оно тебе даже в уши лезет, а я ничего не вижу! Ослеп, понимаешь ты! Очнулся, смотрю им вслед, вижу, как Муханов за ногу ее поддерживает, тут я понял, что жива она, выживет. Разве до мертвой этот похабник пальцем коснется! А потом в комнату к ней вперся... Выгнали. Ухаживает, гад, смердит около.

Он встал, тяжело уронил табурет, задребезжали рюмки, зашаталась бутылка, подошел к краю крыши и, наклонясь над двором, закричал:

-- Бухбиндер! Так-то ты, стерва, принимаешь гостей! Брось сквалыжничать! Денег куры не клюют, а ты по мелочам жулишь, граждан обижаешь.

На желтом экране окна выступила переполошенная рожа, всеми припухlostями и овалами выражая неудовольствие и требование не орать. Он грозил кулаком, шевелил губами, мимически изображал, что поднимется немедленно.

-- А я тебе говорю, сейчас иди! Иди! Волоки весь ректификат! Веремиенко тебя обогатил, угощай Веремиенко!

Пан захохотал, как будто закатился долгим кашлем.

-- Чи не обогатил?.. Скажет тоже.

Онуфрий Ипатыч остановился на полкрике, деланно икнув, вернулся к табуретке.

-- Душа горит, пан, хоть ты и ничего не понимаешь. Синие глаза сквозь веки... Пойду. Пойду.

-- Куда?

-- Пойду.

Он готов был повторять это слово до бесконечности. Оно стягивало ему губы, как лихорадочная сыпь. И бормоча: "Пойду, пойду", -- он медленно скрылся в люке. Пану было все равно. Он так устал, что стакан араки сражал его и делал, как он сам сознавался, совершенным идиотом: только бы не видеть ни саранчи, ни беженцев, ни жены, ни крикливых потомков, никого, кто может обеспокоить, заставить ходить, двигаться, когда болят мускулы и кости. Только бы лилась эта теплота по жилам, которая смягчит хрящи, греет, погружает в дремоту, похожую на детский полусон.

-- И что же это за человек такой! Это же сумасшедший! Он же алкоголик, ему надо лечиться. Он прямо начинает людей кусать. Я стою, смотрю, дрожу, -- упадет с крыши. Хорошенькое дело! Разобьется у меня во дворе, -- тоже удовольствие. Ему пьяными глазами не видать, а мне видать, что крыша -- это же второй этаж. Стоит, качается, кричит что-то несуразное, у меня душа упала.

Бухбиндер надрывался, захлебывался, достиг высоких, визгливых верхов, звенел полуведерной бутылкой, на дне которой плескался спирт. Бухбиндер был укрощен и зол, как змея. Он не знал, что делать с бутылкой, с драгоценным спиртом, раз никто не отзывается и не рвет ее из рук. Пан Вильский не удивился его унижительной покорности пьяным воплям Веремиенко. Может быть, в другое время это его навело бы на размышления. Но пан Вильский дремал. Он старательно не слушал визга аптекаря. Длинный его ус рос из стола в губы, как борода Фридриха Барбароссы. Бухбиндер поставил бутылку на пол и толкнул гостя в плечо.

-- Шел бы ты домой, старик. Что это еще за развлечение, спать на чужой крыше!

Пан Вильский настойчиво изображал глубокий сон.

И вдруг Бухбиндер оставил его, загремел по лестнице вниз. Пан Вильский услышал крик со двора. Девчонка-затворница звала Григория Борисовича. Пан превосходно знал о пристрастиях аптекаря и о том, как тщательно он их скрывает. Случилось что-нибудь поразительное, если эта заживевшая в ласках пятнадцатилетняя фря решила подать голос.

-- Приехали какие-та-а! -- неслось еще снизу.

От Бухбиндера осталась только бутылка.

Пан стер с ресниц многопудовое забытье и, пошатываясь, сполз во двор. Подкрался к сетке окна, с пьяной хитростью взгляделся в освещенное нутро комнаты. Плясали белые склянки с черными буквами. Резвились

плакаты Келлера и Феррейна. Зеленели, розовели, золотились флаконы и банки. Жадно глотали воздух пустые коричневые витрины. Лампа-молния нагло раздулась, шевеля бумажной юбкой абажура. Под ливнем света стояли двое. Женщина сияла неопишным изяществом. Пан перевел взгляд на банки. Но и банки окрасились изображением полной и стройной фигуры в серо-зеленом коверкоте. Пан вгляделся в Мощный и нежный облик, освежаемый серыми глазами и ярчайшими оскалом прожорливого рта. Она часто обнажала клыки. Рядом с ней тяжело пыхтел широкоплечий армянин. У него от самых глазных впадин начиналась густая чернота невероятной поросли бороды. Пан узнал Тер-Погосова. Аптекарь прятался за конторку, но его нещадно обстреливали словами, начиненными волнениями, словами, похожими на разрывные пули. Бухбиндер ахал, как будто они вонзались в него.

-- Гуриевский арестован. Он начинает выдавать.

-- Мы получили достоверные сведения... В Чека обратили внимание на широкий образ жизни... есть ордер на арест Анатолия.

Круглолицая девка в канареечном каляном платье и скрипучих ботинках вошла на цыпочках. Но Бухбиндер зашипел, замахал на нее руками, Тер-Погосов глянул с угрюмой ненавистью, она мгновенно смылась.

-- Я видел главного уполномоченного вчера утром. Он боится неожиданностей. По правде сказать, мы не предупреждали его об отъезде. Теперь каждый отвечает за себя.

-- Надо немедленно вызвать Анатолия. Если есть возможность перебраться через границу, бежим нынче ночью.

Бухбиндер лег на прилавок.

-- Нынче ночью? А я? Уже же ночь!

-- Собирайся! Сейчас же! Бери только деньги. Пахнет знаешь чем?

Тер-Погосов смачно выругался. Дама не повела и бровью. Вильский остолбенел.

-- Собирайся! -- повторил Тер-Погосов. -- У тебя же есть связи на границе, сам хвалился. Да и какая там граница! Персия! А кто пойдет за Анатолием Борисовичем?

Бухбиндер рванул к витринам, словно готов был залезть на стекло.

-- Не я!

-- А я не знаю дорогу. Кто же?

Женщина опустила на стул, закатилась долгим смехом. Колющее чудовище истерики щекотало ей горло, грудь, пробивалось в носоглотку, едкой слюной плевало в глаза, и она всем усилием дыхания и крика хотела отпихнуть его. Она запрокидывала голову, смех становился глуше, тогда можно было разобрать:

-- Труссы! Ах, мерзавцы, труссы! С такими непременно влипнешь!

Но зверек вцеплялся в нее, и она почти беззвучно всхлипывала, раза два-три; и снова на пана Вильского бил сухой, как песок, хохот. Бухбиндер наливал аква дистиллята в мензурку, капал валерианку. Пан продавил носом сетку, и лицо хлопчатобумажного дьявола, седым барельефом вдавившееся в комнату, произнесло влюбленно:

-- Если пани угодно, я за сто рублей золотом приведу ее супруга.

### III

Таня готовилась ко сну. Автомат привычек, посаженный в кости с детства, заставлял расчесывать жидкие волосы, собирать в косицы, даже накручивать на папильотки. Другой кто-то, -- бесшумный, заведовал мыслями и в темноту перемежающейся дремоты выкидывал картины только что миновавших дней. Третий поддерживал двух первых шепотом улыбающихся бледных губ.

-- Бедная Таня, тебя нужно разобрать и положить в керосин. Ты устала, ты отдохнешь.

Легко умереть, как умирают волосы во время тифа. Тиф... Война... Гибельно действует война на женские

волосы. Загорелся человек, закричал, бросился в яму... Скучно ужинали с воспаленными веками Траянова... Высокая спина Муханова. Шея бритая. Скобка волос. Он открывает дверь, проваливается в темноту, идет ночевать к Онуфрию Ипатычу. Миша поводит рыжими бровями. Два черта дрожат у него на крыльях носа. Жена Бродина хохочет носоглоткой. Автомат, расчесывающий волосы, содрогается и холодеет.

-- Какие они отвратительные! Даже самые лучшие из них млеют от любой юбки.

Навязался провожать. С ними Славка, правда. Но до дому пана Вильского далеко, Славка дрыхнет на ходу, удерет. Властный механик мыслей становится деятельным. Какая глушь и пустыня! Только здесь могла понравиться Мише Лилькина владелица, которая смотрит исподлобья, обнажает плечи и хохочет носом. А Онуфрий Ипатыч... Его дрожащие губы, блуждающие глаза... Он готов на все. Но сделал ли он то, что обещал? Эта саранча съела все человеческие отношения, все забыли то, что сулили друг другу. Едва ли Онуфрий Ипатыч забыл. Но он уклоняется от разговора. Одичал, почернел... Может быть, у него просто не было времени? Дни мелькают как кинокартина в последнем сеансе, пущенная вдвое быстрее, чем следует. Зрители стучат ногами, требуют, чтобы медленнее... Но герой спешит рассказать свою тайну. Зрители стучат ногами.

-- В самом деле, стучат.

Таня идет открывать дверь, слышит брань на крыльце:

-- Черт знает что такое! Степанида запирается и засыпает, теперь буди весь дом! Это ты, Таня? Мы с Онуфрием Ипатычем...

Она стоит перед ними, как осина в тумане. У них такие глаза, какие, вероятно, бывают у птиц перед отлетом.

Подчиняясь какой-то хитрой выдумке, она возвращается в комнату, накидывает платок и уходит во двор.

Ночь темна, так темна, как будто земля опрокинулась на небо. И по той, по опрокинутой земле бегают шакалы с зелеными глазами. Душно пахнет сыростью. Под ногами облака и легкий шелест. Двор полон саранчой и людьми. У амбаров слышны голоса. Таня ступает наугад, натываясь на препятствия, на телегу с злыми углами, на связки громких лопат.

-- Жизнь набита горем, что улей пчелами. Так и жалит. До чего я с этого голода равнодушен стал. Давеча жена Ваньки Маракушева убивается, а у меня на уме одно: "Все равно никому жизни нет".

Хриплый ровный голос расстилался мучительно невозмутимо. Мужик говорил так холодно и спрехвала, как будто склад, из которого он брал слова, помещался где-то у него в бороде, на ветру. И слова слетали как мякина.

В безмолвии вспыхнула серная спичка, померцала сначала синим, потом желтым огоньком, осветила кружок из пяти-шести человек, полулежавших на траве. Потухнув, спичка успела зажечь старика. Он заговорил резко, через каждое слово матерясь, по его холодной злобе не трудно было догадаться, что он отец погибшего.

-- Передушил бы их всех! Отчего Ванятка... -- Маракушев запнулся, -- погиб? Отчего? От ихнего неумения. Учились, сволочи, недоучились. Потому что если керосиновые баки делаешь, то делай такие, чтобы не взрывало.

-- Злостью делу не поможешь, Степан Матвейч.

Старик, верно, удивился, почему его останавливают, увидел Таню, -- она стояла, словно белый призрак ненавистного ему мира, -- он поднялся на колени, чтобы стать вровень с ней, забормотал сухо и поспешно:

-- Ну, что... ну, вижу, женщина... кажись, жена заведующего. Они все заведующие... ежели их баб бояться, -- на свете лучше не жить. -- И он с ненавистью бросил в ее сторону: -- Уноси-ка ты ноги поскорее...

Тревога получила воплощение: темные группы сговариваются по закоулкам. Степанида права, что стала запирается. Таня вернулась в умиротворяющий полумрак и уют спальни, но стоило ей закрыть глаза, -- открывалось черное пространство двора, в котором бодрствовали, копили злобу раздраженные, мстительные люди. Она всматривалась в непроглядное видение напряженным исканием пророчества, в ледяном ветре

предчувствий. Порошило глаза, застилало, залепляло внезапным ливнем искр. Голоса ночи звучали невнятно, как зловещие причитания старух. Они глухо катились тяжелыми шарами за стеной, но разобрать предупреждения этих подавленных раскатов было настолько необходимо, что она поднялась с постели, и вдруг ее слух открылся. Он открылся, как открывается действительность и ее шумы упорно работающему, или задумавшемуся, или страдающему человеку ночью. Оказывается, в то время, когда внимание блуждало по заманчивым мирам любви, изобретений, творчества, борьбы, Или мучений ревности, или даже мелких умыслов, -- здесь, где помещается твое тело, пошел дождь. Он успел разойтись и расшуметься и, должно быть, прибывал не раз, и затихал, и жил своим беззастенчивым бытом, быть может, несколько часов. За стеной в столовой разговаривали, и, по забывчивости, довольно громко. Таня прислушалась. Сонливости как не было. Подошла к двери, чуть-чуть приоткрыла, и часть комнаты столбом вздыбилась в узкой щели. Разговор походил на бурю. Буря неслась к своей неведомой цели, -- вероятно, разрядить, рассеять какие-то неблагоприятные скопления в атмосфере. Иногда в щель, отхватившую конец стола, облитого желтым абажуром, попадали то лицо, то отсек тела, руки Крейсера выползали, огромные и медленные, как две рассерженных черепахи, -- он ими как бы придавливал ответы Веремиенко на тяжелые его вопросы. Онуфрий Ипатыч возникал в поле зрения лишь парусиновым плечом и географическим профилем, с носом, похожим на Апеннинский полуостров. Взволнованный до крайности, он сбивался на украинский акцент, которого обычно совестился. Голос, натруженный и сиплый, тлел, стлался, как дым, и лишь иногда со дна коптящего этого тембра вспыхивали влажные и грудные ноты.

#### IV

-- Я выплыл с ее шарфом. Мне хотелось плюнуть в морду и Муханову, и ей, и всей честной компании. Тер-Погосов сказал: "А, ты умеешь плавать? Это пригодится". И пригодилось. Мы выехали к вечеру. Тер-Погосов с нами, начальником каравана. Почти сутки я промучился, набирался духу... Я взял Тер-Погосова и Муханова, отвел на корму и...

Веремиенко вскочил со стула, заметался по комнате, ловя разрозненные остатки впечатлений, воспоминаний, в погоне за их страшной правдивостью, жженье которой не позволяет не только солгать, но и утаить что-нибудь. Коренастое, крепкое его тело как бы не вмещало всей отравы раскаяния, точнее будет -- откровенности; он задышался. Подглазники и отвисшие с угловатых скул щеки наливались какой-то вредной, прозрачной влагой: он побледнел.

-- Я сказал, что дележ они творили неправильно, потому что считал, что я им помогал не только по делам мастерской, но и здесь, в Черноречье, через Бухбиндера, когда наводил на след аппаратов "Вермореля", про которые я знал, где они есть и у кого в округе. При дележе выходило, что мне можно было выдать на руки девяносто фунтов из тех денег, что были сообщены получены за парижскую зелень, да тысячу рублей с мастерской, да четыреста мелочи; итого выходило две тысячи триста. Муханов мне задолжал фунтов четырнадцать, -- он был должен больше, но вычитал мою долю в выпивке как хотел. Да что там языком колотить, -- три тысячи рублей я требовал... У меня были свои виды на эти деньги...

На Крейсера падала тень абажура, но и в тени было видно, как прядала болезненная усмешка в небритой бороде. Руки бродили по скатерти. Они тоже как бы следовали за мечущимся, шелестящим парусиной Онуфрием Ипатычем.

-- И Бухбиндер? -- спросил он. -- И Бухбиндер, -- ответил он сам себе. -- И вы... Я ничего не понимаю. Насколько надо оглушить себя, чтобы пойти на все это. Здесь на нас бросается с бессмысленной яростью природа. Скорлупки нашей жизни утлы и беспомощны. Всякий, кто видел это, должен задуматься. И вдруг такая мизерная, грязная суета!..

Веремиенко посмотрел на него с оторопью не в тот дом попавшего человека, но, приняв и это за необходимую подробность поисков справедливости, вытер тремя пальцами пот с носа и стремительно понесся дальше. Он уже рассказывал то, что ему чудилось, что примерещилось в борьбе с Тер-Погосовым, когда он придумывал угрожающие слова.

-- Тер-Погосов рассмеялся мне в физиономию, а Муханов сказал, что я -- век проживи в Черноречье -- не увидал бы таких денег. "А если к стенке становиться, то не все ли равно -- за полторы тысячи или за три", -- и

ощерился тоже. Морда бледная, мямлит, слова, как слюнявые куски, падают изо рта. "А самое важное, -- говорит, -- спастись надо, концы прятать в воду". Показывает на баржу. Я ответил. "Концы пойдут в воду, если мне вернут мои концы".

Рассказчик поднялся над столом, смотря поверх плеча собеседника. Там вился бред прошлого, продираясь через который он вышел весь в колючках, -- боль от них -- ручательство, что все это было. Свет лампы не падал за спину Крейслера. Но море, разлившееся за ним, казалось светлее неба, и только к горизонту оно темнело настолько, что эта линия не улавливалась, лишь намечалась дрожащими отражениями звезд. На темной, без колебаний преследовавшей пароход барже горели два огня, стиснутые мглой. Она сглаживала следы, как утюг, и вдруг, оглядываясь на раскрывшего рот Онуфрия Ипатыча, нырнула в окно. Но видение не смешалось, -- как не смешалось бы масло с водой, -- с воспоминаниями, и он, паля папиросу, продолжал:

-- Стою, жду, когда вылезет бумажник. И они стоят. Каждый друг друга понимает, а все трое мы застыли, как статуи. Такие в каждом из нас сильные желания и чувства, знаешь -- и страх, и жадность, и расчет... но нет сил с места сдвинуться! В ином положении, может быть, спором изошли бы, а на грузовом судне не раскричишься, кругом тишина, могут услышать. Только птицы по воде барахтаются, бурлят. И вдруг я как чихну! "Ап-чхи! -- говорю. -- Будь здоров, Капусткин!" Тер-Погосов даже скорчился, к Муханову: "Доставай свою долю!" Пошли в каюту, через пять минут принесли мои деньги.

Рассказывая так, он бахвалился, врал. Но как же иначе изобразить победу над хитрым и увертливым врагом? Каменные глаза собеседника не отразили жалкой улыбки, которой торжествовал Веремеенко. Он потер ладонь, похлопал по ней пальцами, изображая, как это делается: "Деньги на бочку!" Без словесного сопровождения движения эти его самого оскорбляли до слез, но в сухом рту не поворачивался язык, свинцовевший, как у паралитика. Тишина комнаты, Сизый зверь из дыма и духоты, мохнатилась занавесками, подслеповато мигала окнами, тяжело дышала. Веремеенко проворачивал голову с ощущением телесной тоски человека, которому неудобно собственное тело: и шея коротка, и грудная клетка узка, кровь струится, приликая к стенкам сосудов, как сироп, и едва справляется с этой вязкой тягучестью сердца. Он слишком много выболтал, не хватало воздуха.

Крейслер безжалостно твердил свое -- себе самому. Он слушал себя, и когда заговорил, то сам не ощутил перерыва в мыслях, того возврата к обдуманному, который необходим, чтобы начать речь. Тот внутренний Крейслер говорил ему, что ему неприятны все эти треволнения подлости, к которым хотят сделать его причастным. Место, на котором самое физическое существование его безопасно в рассерженной вселенной не больше булавочной головки. Кругом бушует вихрь неблагополучия и ущербов.

-- Как все это мелко! Как все это мелко!

Ему мнилось, что он высказывает самое сокровенное и самое сложное, что измыслил во многомесечном уединении. Если это исповедь, то она брызжет грязью. Он не понимал, что Веремеенко ищет возмездия. И отшатнулся, когда услышал хриплый вскрик:

-- Что мелко-то, праведника твою мать?

Онуфрий Ипатыч отпрянул в угол, налился чернотой и, грозя кому-то кулаком, который достигал до середины комнаты, бессвязно проклинал:

-- Высокие! Снеговые! Честны и сладки, ну соси их! А мы на низменное пошли... Как она вселится тебе в каждую жилу, и сама не знает угомона, и тебе не даст передыха. Слезы на глаза нагоняет, по губам сухой шерстью водит, под ногтями, как червь, грызет. Ты в жару, тебе водки не хватает его залить. Знаешь, что это такое?

Крейслер смотрел недоуменно.

-- Не знаешь? А живешь. А вот я завтра встану к стенке, да знаю, что без этого жизнь не мила, а с этим и смерть не страшна. Ты на меня, праведник, не смотри такими глазами, как будто арестовать готов. Арестуй, гад! Я и тебя люблю.

Крейслер смотрел недоуменно. В окна лилось что-то мутно-синее, пахнувшее холодом, чирикнувшее раза два и донесшее лошадиное ржанье. Колебалась неживая, траурная ветка платана. Серость и мутность пересиливали безжизненное мерцание лампы над столом. Они врывались и, словно отдавая углам осадок,

разжижались на глазах. В этом выцветании ночи приняло участие неожиданное лицо. Почти не расширяя щели, Таня выскользнула из двери и медленно направилась к Веремеенко. Он остолбенел. Папилютки в волосах, влажные ресницы, бледные, почти не разнящиеся цветом от зубов, губы. Она приблизилась беззвучной поступью, взяла и подняла его темную, в рубцах и мозолях руку. Подняла его руку с твердыми, грязными ногтями, прижалась к ней и сухим и горячим, как слеза, поцелуем.

-- Простите его, Онуфрий Ипатыч.

V

За окном разыгрывалось утро. И не только за окном: оно ввалилось в комнату, полновластно царило в доме, обнажило тягостную заношенность мебели, забралось в углы с серыми кругами паутины и пятнами пыли, словно плесень, прилипшая всюду. Комната оказалась полна саранчой, начавшей беспокоиться, прыгать. Крейслер не замечал ее, сидел изнеможенный, с таким ощущением, словно струя холодной ртути вымыла мозг из черепа, налилась и застыла в костях. Где-то стороной летела буря мыслей, чувств, страстей, и охвостья этой заверти иногда проносились сквозь него, распластанного на стуле. Заснуть? Но то, чем засыпают люди, те неведомые центры, которые насылают на нас блаженную темноту дремоты, -- их тоже вымыло льдистым потоком. Он озирался, учась ненавидеть все, что видел, он воспитывал в себе обезьяну злости, которая будет в точности походить на Михаила Крейслера, но с длинными, до полу, руками, с волочащимся по земле задом, с тяжелой челюстью, с дюймовыми клыками, с языком, любящим лизать кровь. Утро добрело до кухни, разбудило Степаниду, она загрохотала посудой, раздувала самовар. Осматриваясь, Крейслер заметил на письменном столе лист бумаги, в который обычно заносил записи наблюдений за саранчой и с вечера оставил незаполненным. Белизна бумаги вернула к жизни. "Ах, да... саранча..." Он встал и пошел в спальню.

Жена лежала одетая. Ее лицо, металлически-бледное, отличалось от залежанной наволочки только блеском и более глубокими тенями. Она открыла глаза -- ему показалось -- с шумом.

-- Что же ты наделала, Таня? -- спросил он таким разжалобленным тоном, словно готовился изойти жалобами. -- Ну, что ты наделала? До сих пор я все понимал в нашей жизни и, как она ни страшна была, мы любили друг друга и все скрашивалось.

Едва размыкая губы, сплоенные отвращением, он шепотом спросил:

-- Ты любишь его? Этого преступника, участника воровства, подлых хищений...

И вдруг услышал в ушах какой-то шум, с которым все равно не жить, и, перебивая его, Михаил Михайлович сам начал кричать, махать руками, со стороны видя себя разгневанным и грозным. Он ругал Веремеенко площадными словами, позорил и через каждые пять минут твердил: "И ты любишь такого!" Она давно поднялась с постели, на лицо ее нанесены были искажения ужаса, брезгливости. И слез, чтобы смыть это, не было. Земля ускользала из-под ног, и, ловя ее, она кричала: "Замолчи!" Он не подчинился. И ей, только что видевшей любовь, на которую она ничем не ответила, которую не вознаградила, стало унижительно слушать его.

-- Замолчи, говорю. Ты ничего не понимаешь, ты -- груб. Меня обвиняешь в измене, а сам... На себя погляди, с какой-то заезжей дурой проводишь по полночи. А Веремеенко... Он все, что у него есть: достояние, честь, жизнь, -- принес в жертву. Он действительно любит. И как благородно... Он не пришел ко мне: "На вот, -- поезжай куда хочешь. Покупаю тебя". Ведь я сама ему жаловалась...

"Сама", -- хотел сказать он. Это слово предназначалось уязвить, обидеть ее, отомстить за него, разрешить сомнения, наконец... Но в дверь постучали.

-- Кто там?

Крейслер в бешенстве бросился к дверям. На пороге стоял Веремеенко. В темноте наплывающего беспамятства Крейслер почувствовал, как пальцы, готовые протянуться к горлу соперника, наливаются сухой силой. Тот вытянул жилистую шею, бормотал: "Меня обокрали, сволочи... Он убежал..." Крейслер очнулся.

-- Кто?

И сразу вспомнил то, что не мог вспомнить вчера. Ему открыли преступление, а он, вместо того чтобы начать действовать, устраивает сцены жене. Не оборачиваясь на нее, он за руку вывел Веремиенко из спальни. Захлебываясь, бессвязно, Онуфрий Ипатыч сообщил, что держал деньги в матраце. Вернувшись домой, он застал свою постель перерытую, бросился к ней и увидал, что матрац взрезан.

-- Я сначала думал, посторонние кто, бандиты или эти беженцы, -- тоже разбойники. Бросаюсь в комнату Муханова, там пусто, и видно, что быстро собирался... ау...

Он пытался сунуть Крейслеру какую-то бумажку.

-- Вот десять фунтов, все, что осталось.

## Глава девятая

I

Совершенно неожиданно из Асад-Абада утром приехали Траянов и Эффендиев. Эффендиев пылал. За последние дни он снова объехал весь район, распределял продовольствие, но все делал с ожесточением отчаяния, передавшимся ему от населения. Он очень тонко чувствовал колебания массы, а она отступала перед саранчой. Он боялся непонимания в работе -- и ничего не понимал. До тех, впрочем, пор, пока Траянов ему не объяснил причину провала экспедиции, все ее неурядицы, бестолковщину, так застопорившую борьбу. И Эффендиев стонал во время рассказа. "Ай-ай-ай!" -- кричал он, казалось, почти добродушно и непрерывно качал головой.

-- Как же так? -- спрашивал он. -- Окрутили? На завод! -- резко сказал он, и зубы его сверкнули с жестоким лукавством.

Крейслер вызвал его в контору, рассказал, что произошло. Радость загорелась на смуглом лице Эффендиева; преступники, аресты, погоня, -- это просто и несомненно, он не любил сомневаться.

-- Надо арестовать Веремиенко, -- заявил он.

-- Успеем, не уйдет, -- ответил Михаил Михайлович.

-- Нас побьют, народ лют.

Глаза его блестели.

-- Ты чего торжествуешь? -- с досадой спросил Крейслер.

-- Я никогда не видел такого возбуждения, такой активности. Нас побьют, а активность останется. А, гады, до чего дошли. Догнать -- догоним. У нас машина.

Утро блистало над степью такое, словно ее влили в голубой бриллиант и бриллиант этот непрерывно поворачивали перед рассиявшимся солнцем. Почти весело суетились у автомобиля, собирая винтовки, проверяя револьверы. И только Веремиенко горбил серый, с дрожащими руками, бесформенный в этом четком мире. Едкая струйка пота скатилась с переносицы к губе, он не удосуживался ее вытереть и все слизывал.

-- Тебе придется остаться здесь, -- сказал Эффендиев.

Веремиенко с жалкой ненавистью поглядел на сидевших в машине.

-- Я не выдам. Я злее всех.

Грохот мотора, оружие, минутное замешательство привлекли внимание. Вокруг машины толпились беженцы. Сегодня им не дали работы, они верхним чутьем догадались, в чем дело: прошел слух, что кто-то бежал с деньгами, предназначенными для покупки хлеба. Они глухо переговаривались, глядели упорно в землю и, подталкивая один другого, пробивались к крыльцу, загораживая путь к воротам. Их лохмотья, совершенно бесстыдные, сбившиеся волосы, выцветшие по концам на солнце, как лен, казались тоже изъеденными саранчой. Худые скулы, краснота ожогов, в глазах цвета незрелой ржи -- лихорадочный блеск

подхваченной на болотах малярии. Кто-то громко спросил сзади:

-- Куда путь держите, граждане?

И все сразу кинулись к крыльям, колесам, облепили кузов привычным напором нищих, попрошаек, обесстыженных голодом и бездомностью, бегством с родных полей. Приволжские, заволжские холмы, царицынские балки, овраги, пески, бузулукские и бугурусланские черноземы, щедрые и суровые края, поля, поля... Каждая десятая подымала зыблущимися шейками стеблей десятки и сотни пудов золотой пшеницы, ячменя, овсов. Гибкое это богатство подступало к прекрасным станицам и селам в мальвах, в вишенье, в желтых ризах подсолнечников. Ребята и куры купаются в пыли, ребята и гуси купаются в прудах. Тишина и порядок, тяжелые, как плодородная пыль, властвуют в селе, богатство, кормящее его, требовательно и жестоко. Богатство оставляет на отдых из суток четыре часа, остальные двадцать приковывая к плугу, к жнейке. Богатство пытается, выворачивает кости и жилы на влажных от пота и гладких от ладоней деревянных и железных ручках орудий. Богатство привязывает к хвосту лошади и разметывает крестьянскую силу по полю. У него не забалуешь, -- за непослушание, за невнимание оно вымотает душу, накажет позором, удушит нищетой. Строгое и истовое повиновение полю растило и воспитывало этих людей. И все распалось. Все сгорело и высохло, поглотила растрескавшаяся земля. Жесткие объятия родного поля, мертво разомкнувшись, отпустили на окаянную свободу: бродяжничать и голодовать.

Они кричали, вопили, перегибались в кузов, махали руками, брызгали слюной. Не то пожар, не то базар, не то поймали конокрадов, -- самосудные выкрики дрожали над суматохой.

-- Нашу гибель сымали на картинках, пушай свою подлость сымут, -- отчетливо услышал Крейслер и мгновенно нашел старика Маракушева.

Волосатые руки, костлявые каменные кулаки мелькали перед глазами. Откинулся от насевших спереди, затылок попал в горячую пену дыханий. Толпа прибывала, плотнела, бежали бабы, старики, детишки. Все твердо понимали лишь одно, что в воплях у крыльца заведующего нет ничего хорошего, а проклятой жизни обещает ухудшение, хотя хуже, кажется, и некуда. Так и понимала дикий ропот упавшая на подоконник Таня. "Фордик" затерли спины, головы, люди забирались на изгородь палисада, на холмики клумб, на крыльцо, на перила. Что-то трещало, -- вероятно, сучья деревьев. Ребята ругались матерно. Женщины кляли безлично и ужасающе всех и все.

Постепенно гул стал утихать. Из глубоких недр толпы пошли увещательные восклицания. Толпа тишала. Так дружно принимается дождь над взбаламученным пыльным городом. Пыль укладывается черной рябью под отдельными каплями, рябь быстро сливается, и на сплошной корке грязи выясняются колеи, остатки мостовой, потоки. И город утихомирен.

Высоко над толпой поднялась черная голова Эффендиева. Он принимал гул плавными взмахами рук. Губы его шевелились, рот открывался, и эти неслышные усилия могущественно влияли на толпу.

-- Товарищи! -- каркал он. -- Тише, товарищи, дайте говорить.

Крейслер слышал это несколько минут. Тане казалось, что оратор произносит невесть что занятное. Заглушали задние, их останавливали: "Объяснит, объясню, пусть объяснят!"...

-- Саранча сегодня и завтра будет окрыляться, в несколько дней унесется отсюда. В лётном состоянии борьба с ней невозможна... Мы сделали все... организованные крестьяне, рабочие, служащие... не в наших, силах... мы не могли задержать стихийное бедствие... как если бы разлив Куры... затапливает двести -- триста тысяч десятин...

Таня никогда не могла понять, какое таинственное дополнение вселяется в этого человека, в обычной беседе посредственно вяжущего слова, в особенности если сравнить с беседой Михаила Михайловича. Стоит ему увидеть перед собой толпу, -- он легким усилием строит над их головами несложное и все же чудесное здание речи. Он понимал простые мысли и запросы объединений, множеств людей, отвечал только им. И он знал, что отвечает правильно.

-- Мы исчерпали все средства борьбы. Но в то время, пока мы боролись, некоторые прихвостни буржуазии совершали преступления. Они хотят улизнуть от пролетарского правосудья в Персию. Мы должны их догнать. Но прежде чем мы вас организованно рассчитаем, -- паек будет выдаваться.

Количество сообщений поразило, оглушило слушателей. Автомобиль, неистово треща, на первой скорости, рыча гудком, бросавшимся на зевак, быстро вышел к воротам. Таня наблюдала движение по дымку, стлавшемуся за ним. Она не заметила, как кто-то кинул вслед камень.

II

Камень гулко ударился в обшивку.

-- А, -- крикнул Эффендиев, -- предупреждают. Береги завод.

Содрогаясь от напряжения, автомобиль повернул за ворота и нырнул в сияние дали, разбежавшейся перед ним. Воздух был сух, прозрачен. Черноречье налезало на глаза, как шапка. На поворотах машину заносило, у Михаила Михайловича ёкало под сердцем, радость скорости, мелькание быстрого пути мгновенно освежили и высинили душу. Двор, засоренный саранчой и орущими ртами, остался позади. Спереди, от Траянова несло растрепанную бороду и какие-то восклицания.

-- Не слышать! -- отозвался Крейслер.

Ветер рвал крик, забивал обратно в горло.

-- ...аптеке Бухбиндера...

Эти минуты поездки были бы совсем прекрасны, если бы не спутники. Эффендиев истощался тонкой злобой, ветер раздувал угли его глаз, он жмурился, пальцы когтили винтовку, как будущую добычу. Особенно мучительно согнулась спина Онуфрия Ипатыча, привскакивавшего мешковато, безвольно, беспропротивленно на каждом толчке. "Вот она, будущая добыча!" Крейслеру сделалось стыдно, он оттолкнул винтовку. "Вот на такого ты и понадеялась", -- с ненавистью подумал он.

-- Что? -- хрипло каркнул Эффендиев, поглядев на шевелящиеся губы.

"Следишь!" -- мысленно огрызнулся Михаил Михайлович.

Аптеку Бухбиндера можно было узнать издали по обморочно зеленым ставням, наглухо закрытым в неурочный час. Несколько мальчишек торчало у палисадника. На крыльце сидела канареечная девица. Она, не мигая, вперилась в остановившийся автомобиль, сказала, не вставая с приступки:

-- Уехал Григорий Борисович.

Все утро повторяла, ей надоело бы хуже горькой редьки, но было приятно удивлять других свободой, канареечным платьем, сообщением.

Эффендиев выхватил из толпы мальчишек беловолосого подростка, который растерянно вертел пустой аптечный пузырек с желтым языком сигнатуры у горлышка.

-- Позови милиционера.

Мальчуган преданно взвизгнул и ринулся в пыльную улицу. За ним понеслись другие. Эффендиев подошел к крыльцу и, не отводя глаз от девицыной переносицы, спросил, -- с кем уехал?

-- Один, совершенно один, -- ответила она, расправляя юбки, текшие по ступенькам.

-- Встань, когда разговариваешь!

Вдохновение осенило его. "Гроза!"-- гордился он про себя. Девицны глазки поехали вкось. Ее только и нужно было заставить сняться с нагретого задом камня.

-- Врешь, они уехали втроем.

Захныкала, лицо исказилось на резком свете солнца, рот пополз, словно в него попал кусок соли.

-- Он сказал, что один, не видала я, дяденька.

Причитала, как будто теперь только поняла зловещий отъезд хозяина с чужими людьми. Крейслера подергивало от ее безобразных слез. На суматоху собирались добровольные понятые допроса, любопытствовали взрослые мужики.

-- Черт вас знает, саранча у вас, разорение, а вы все бросили, торчите.

Кто-то брюзгливо возразил:

-- Саранча-то и у тебя тоже разоряет. А ты сам тут, товарищ, торчишь. Кабы не полномоченный...  
Набурobili чевой-то, от людей скрываются...

"Ну, опять холерный бунт..." Михаил Михайлович не успел додумать, увидел пана Вильского. Тот, очевидно, привстал на цыпочки: усы его высоко шевелились над шляпами мужиков. Он мигал так выразительно, словно дергал за рукав. Михаил Михайлович повиновался, пошел за угол палисада, и пан, вовсе не таясь, вынул из кармана две золотых десятирублевки, давно не виданного, непривычного, красного блеска, показал и, шевеля усами, прошептал:

-- Чи не надули, Михаил Михайлович? Вместо тех ста, -- двадцать. А я помог им, как за сто, -- теперь раскаиваюсь. Они поскакали по дороге к границе, через станцию мелиорации вон того инженера Траянова.

Крейслер отшатнулся: кругом преступления, пособничество, обман, предательство. В ресницах пана Вильского переливалась влага обиды, бесцветные зрачки студенились, подрагивали. Подбрасывая на ладони монеты, он проклинал:

-- От, курва неверная, сволочь!

Как соглядатай, неожиданно из-за ограды вылез Веремиенко:

-- Юпитер, ты сердисься, значит, ты виноват, -- сказал он бессмысленно и улыбнулся так, точно ему сдирали губы тупым ножом.

Эффендиев из сельсовета созвонился по телефону с пограничными властями, вызвал дополнительно милицию, послал на завод. На место Онуфрия Ипатыча сел тоже милиционер, Веремиенко как будто забыли, не замечали. Он тихо побрел домой.

Древний дух преследования пригнул Траянова к рулю, напряг до боли глаза Крейсlera, и даже милиционер озирал безмерный кругозор Степи с такой внимательностью, словно искал иголку. Воздух был алмазно чист, земля бездыханна. Слева, на востоке, чуть-чуть иззубривая горизонт, легкой сиреновой грядкой прилегли горы Талшинского хребта. Два-три раза в году в особо ясное утро их видно с такой отчетливостью. Под колесами автомобиля стлалась широкая гладкая дорога, пробитая верблюдами, их медленным, печатающим ровный след шагом. Шлях сливался с равниной, разматывался незаметно.

-- А вон и мой хутор! -- крикнул Траянов.

Крейслер и без того узнавал места, знакомые по блужданиям несколько недель тому назад. Как все изменилось, однако. Изумрудная трава побурела, пожухла, покрылась пылью. Даже черный остов пожарища показался меньше, приземистей, как будто и он выветрился за это время. Траянов замедлил ход, машину раза два потрянуло на заросших колеях. Обогнули остатки сада с незабываемыми розами, выбрались на открытую дорогу.

Эффендиев приподнялся, вцепился железными пальцами в плечо Михаила Михайловича. Чабанское зрение настигало беглецов.

Крейслер почему-то испугался этой зоркости. Но в ответ на веяние испуга в лицо бросилась жаркая волна крови.

-- Где? Где?

-- Влево смотри, влево.

И Эффендиев рвал его плечо.

-- Вижу, я вижу! -- закричал Траянов.

Эффендиев взмахнул ружьем.

-- Молодец, старик. Прибавь газу.

Он смеялся, громко смеялся, широко и пьяно скалил длинные зубы, смех походил на клекот. Машина

содрогалась. Ее подбрасывало переменной скорости. Они врезались в упругий воздух с грохотом, со свистом. Бороду Траянова давно снесло к ушам. Милицционеру приминало нос и щеки, и, чтобы расправить, он отворачивался назад. Пыль висела сзади. Упругие ее клубы, одинаковой величины, плотности и веса, толкали машину. Запах травы сгустился, как в сеннике. Ветер придирался к ресницам, к волосам, к малейшей слабости кожи: на этих местах почти накопилась боль. Горизонт качался.

### III

-- Боже мой, как все это идиотски несуразно... Можно же было заранее приобрести хурджимы, а не везти вещи в неудобных фибровых чемоданах.

Евгения Валериановна чуть не плакала. Она была наделена тем внутренним зрением, которое позволяет видеть себя со стороны, -- это по привычке смотреться в зеркало. Трясясь в высоком и скользком, подпирающем ягодицы казачьем седле, она теряла посадку, силу, уверенность, элегантность. Она знала, что посерела от пыли, пота, усталости. А губы... Их не покрасишь. Ей казалось, что лицо ее бросает уродливую тень на землю. Можно разрыдаться, укусить палец, когда видишь таких спутников. Конечно, и Тер-Погосов и Бухбиндер должны быть смешны на лошади. Но кто мог думать, что они будут так отвратительно смешны! Безобразны! У аптекаря сбились до колен брюки, из-под них глядели нечистые подштанники, ухотившие в рваные носки. Он держался за луку обеими руками и, когда лошади переходили в вялую тряскую рысь, безнадежно шмыгал носом. Проводник, контрабандист Гуссейн, почтенный, как мулла, все время поторапливая, взглядывал на Бухбиндера и замолкал. Тер-Погосов невероятно потел, его черная борода в пыли походила на мышиную шкурку.

-- Надо дать лошадям отдохнуть. Мне эти свертки отбили колени, -- сказал он.

Бухбиндер выбросил ноги из стремян.

-- Ох, пусть уж лучше нас поймают, чем такое мучение!

-- Стенки захотелось, -- заметил Тер-Погосов.

Муханов застонал и стал многословно ругать Бухбиндера, говоря, что он задерживает.

Пресек ругань и заблагодушествовал, похлопывая по шее лошадь, приговаривал: "Ну, только не сдай, конек". И хвалил свою лошадь, ее стати, рысь. Он говорил, чтобы не молчать. Он говорил, что механический транспорт убивает красоту преодоления пространства, подвижничество поездки, в который раз вспоминал Пушкина, в возке, в кибитке, в бричке преодолевавшего российские пространства. Воскликнул: "А как знал страну поэт!" Гуссейн слушал, усмехался в серебряную бороду, плотно лежавшую на обветренных щеках.

-- Лошадь -- хароший (он произносил "ш" почти как "щ"). Поезд лучче. Поезд можино, -- я контрабанду поездом повезу. Скорый.

Муханов обрадовался возражению, он говорил, лишь бы не молчать. Он доказывал, что до этих мест не скоро доберется машина.

-- Не привередничай, довольствуйся конякой.

-- Это же невозможный человек, -- взмолился Бухбиндер. -- У меня же голова разболелась от этих лошадей. Какая неделикатность.

Муханов обиделся, попросил не брюзжать. Евгения Валериановна поняла, что надежда спастись вытеснила в нем все страхи: в его неёмкой душе полновластно царила только одна эмоция, изгоняя другие. Он тронул своего горячего жеребчика, действительно лучшего в темном хозяйстве Гуссейна, и проехал мимо жены, улыбаясь. Та собрала приветливость улыбнуться в ответ, и он крупным галопом поскакал к возвышавшемуся справа холму.

-- Помещик и дворянин. Он ездит верхом, как генерал от кавалерии. А я, бедный еврей, всю жизнь торчал с пробирками за прилавком. Но мне жалко и такой жизни.

Муханов сделал руку козырьком и долго всматривался в слегка помутневшую от зноя даль. Слоистый воздух стеклянно волновался и вдалеке неуловимо смазывал очертания предметов. Пыль, которую они

подняли при проезде, долго не укладывалась, дымка тянулась далеко назад. И там, где она совершенно сливалась с краем неба, там вдруг появилось маленькое черное пятнышко, за которым струилась, как едва заметная черточка, полоска дыма.

-- Что ты там рассматриваешь? -- закричал Тер-Погосов.

Они давно миновали холм и ехали шагом. Пятнышко увеличивалось. Полоска получила цвет, она была серая, она была пылью. Муханов спустился к дороге, догнал спутников, лицо его мертвенно застыло, над нижней губой поблескивали золотые пломбы.

-- Нас догоняют на автомобиле. Нас видят. Степь. Ровное место. Деваться некуда, и лошади утомлены.

Он бросил поводья, конь радостно отфыркивался, мотал головой.

-- Мы будем отстреливаться?

В вопросе женщины звучала мука и надежда. Пусть эти люди защищают ее. Может быть, это она видит во сне. Но испытание людей должно быть явственным.

-- Чем? Чемоданом? -- отозвался Бухбиндер.

-- Кто-то выдал, -- глухо бормотал Тер-Погосов. -- Поляк проклятый... Как они могли сразу догадаться... поехать по этой дороге. Там же всего один "форд"... А вон синие горы, Персия, спасение...

Муханов швырнул чемодан на землю.

-- Я не поеду дальше. Бессмысленно раздражать людей. Догонят, убьют, -- скажут, при побеге. Да и куда удерешь на этих одрах! Машина приближается на глазах...

-- Эх, что тут еще! -- завопил Бухбиндер, обхватил лошадь за шею и, нахлестывая ее пятками, пустился вскачь.

Где-то сбоку и спереди ухнул, прокатился выстрел, другой, и сзади, часто, часто, но резко и отчетливо поддержали.

-- Пограничники, -- сказал одними губами Гуссейн.

Тогда и Тер-Погосов бросил свой баульчик. Лошади тревожно прядали ушами, тяжело дышали, опасливо поджимались, но, привычные ко всему, стояли покорно. Гуссейн смотрел назад. Уже как дальняя барабанная дробь слышался победный треск машины. Выстрелы смолкли. "А Бухбиндер-то!" -- хотела сказать Евгения Валерьяновна, подняла даже руку, чтобы показать, как быстро скрывают беглеца клубы пыли, но несколько таких же клубов появилось наперерез ему, они росли над ровным горизонтом, где лиловеющие горы казались чудесной пряжкой, которой прикалывали небо к земле. Машина грохотала все ближе, неуклонно набегающий прилив этих звуков шевелил волоски на затылке, но Евгения Валерьяновна, крепко сжав в мокрой руке поводья, не оборачивалась, смотрела вперед, и только вперед, где воздушный след Бухбиндера становился все легче, -- аптекарь действительно как будто летел. И это после чуть ли не четырех часов езды! Женщине хотелось зарыдать. И вдруг пыль начала оседать. И близко, ближе, чем ей виделось все время, вырисовывалась лошадь, лошадь одна, без всадника, лошадь остановилась. И так же стали ясны трое карьером несшихся пограничников, весело кидавших винтовки.

-- Пристрелили, -- сказал Тер-Погосов.

Ей послышалось, как будто он сказал даже облегченно. Но эти мысли заглушил налетевший мотор. Евгения Валерьяновна повернулась к опасности. За грохотом двигателя, за ревом сирены мощно золотились толстые завитки пыли, и оттуда бил нестерпимый жар.

-- Стой! -- бессмысленно кричали из автомобиля, наводя дула.

Лошадь Евгении Валерьяновны резко шархнула, но всадница из всех сил сдержала ее.

Милиционер, путаясь в шашке, бежал к ней.

У самых ворот Онуфрий Ипатыч встретил Марью Ивановну. На ней был ядовито-синий сатиновый капот, обтягивавший ее мощное тело, потевшее от огорчения и любопытства. Круглое, восковое лицо, на которое не садился даже загар, -- так оно было маслянисто, -- сморщилось, когда она увидела медленный, какой-то липкий шаг Веремеенко.

-- Онуфрий Ипатыч, -- сказала она шепотом, -- здравствуйте. Сто лет вас не видала, а дела-то какие... -- Она шептала все тише, словно приманивая его, и не отпускала его вялой руки. -- Кругом саранча, все жрет, все губит, завод в чужих руках... -- Ей, видно, хотелось говорить не об этом, но она стеснялась дневного света. -- И с вами что-то делается... и я одна... хоть бы зашли, а если нужна, кликнули.

Влажное тепло пышело от колыхавшейся груди, пот, как слезы, накопал на щеках. Трое беженцев в лохмотьях, с лопатами вышли из-за тополей, прошли мимо, один громко захохотал:

-- Нашли время!

Онуфрий Ипатыч почему-то думал о том, каким голосом говорить ему на допросах, и, передернув плечами, вырвав руки из ее крепких, мягких пальцев, решил молодцевато засмеяться, сказать что-нибудь вроде: "Последний нынешний денечек", в горле заклокотал сиплый кашель.

-- Со мною кончено. И жизнь моя -- не моя теперь. Заигрались мы с огнем, с казенными денежками.

Махнул рукой и направился к своему флигелю. Она помедлила, гадая, не с перепою ли? Но нет: он ступал твердо и как-то даже нарочно отчетливо. Женщина молча последовала сзади, часто и нервно дыша.

-- Сгубила тебя бледная немочь.

Марья Ивановна мотнула головой в сторону, где за тополями сиял красный домик. Веремеенко остановился, но гнева в себе не обнаружил.

-- А насчет ее -- помолчи. Кто взрослого дурака может погубить? -- И, подумав, что не за что обижать бабу, добавил: -- Прощай, Маша, не сердись. Плохое я тебе утешение был.

У нее сделались совсем старые щеки, она воровски оглянулась, вскинула было руки обнять, он как будто бы не заметил, быстро зашагал к дому. Она побрела к себе, мелькая за деревьями. Он выждал несколько минут на крыльце, ноги сами понесли к красному дому.

Вошел. Прохлада полутемных комнат пахла мятой, ароматом сырых камней. У него захолонуло сердце. "Кто там?" -- раздалось из спальни. Онуфрий Ипатыч смело шагнул туда. Таня стояла посредине комнаты, с мужниной рубахой, которую чинила. Отступила, опустила на кровать. Он подошел к стулу и не сел. От прилива душевных сил сам себе показался высоким, красивым.

-- Онуфрий Ипатыч, что с вами, какой вы... -- Таня не договорила -- так Онуфрий Ипатыч был плох, сер. -- Вы еще на свободе? Так бегите, скройтесь! Вы же знаете, чем это грозит.

Она советовала то, что он все время отгонял от себя, и почти испугала пронизательностью. "Как читает", -- мелькнуло в голове. Ему захотелось верить, что эта пронизательность происходит от любви, он помедлил, дал время надежде вырасти в убеждение, может быть, она должна была улыбнуться, или прослезиться, или жилка какая-нибудь дернулась бы у рта, вздохнула бы. Или просто со двора послышался бы бодрый, веселый звук, -- тогда... Тогда бы все, что переполняло Онуфрия Ипатыча, что сжимало горло, увлажняло ладони, жгло подмышки и губы, хлынуло бы криком, дыханием, объятиями, а тонкая бледная женщина, всплеснув легкими руками, вдохнула бы его всего в себя. Но она не двигалась, лицо не шелохнулось, замер двор, застыл весь мир.

-- Куда бежать? -- возразил он, разрывая томление.

Она словно обрадовалась сопротивлению, бросала быстрые неуловимые, как воздух, слова.

-- Вы местный житель, у вас брат... найдете контрабандистов...

"У меня нет денег", -- хотел он сказать, но вырвалось:

-- Куда мне бежать одному!

Она, как ослепленная, откинулась, закрыла глаза. Он медленно повторил свое, -- несколько слогов

растянулось в бесконечность:

-- Куда бежать одному? Зачем? Этого я добивался? (Она не открывала глаз.) Да и денег нет. (Она открыла глаза.) Брат ведь не поможет, сам отправит в милицию. Видали же вы его... Топор, а не человек. (Опоздавшие слезы засияли в ресницах.) Нет уж, Татьяна Александровна, буду отвечать.

"Не упрекаю ли я ее?"

-- Ах, зачем вы не сказались мне прежде, чем пошли к Михаилу!

Посмотрел на нее удивленно.

-- Как же так я вам мог сказать... Так прийти и ляпнуть: "Вот я накрал, бежимте со мной!" Да вы бы меня как бродягу вытолкали. Я бы язык себе вырвал. А у вас муж, чистый, незапятнанный, он издали судил бы... вас... Я ведь не деньгами вас добивался, деньгами я только помочь вам хотел. И тут уж Михаил Михайлович должен был решить, как он на это смотрит. Он вам дорог, вы ему верите. Вас ли деньгами поганить!

Восторг осветил его, обсушил, сгладил ноздреватую кожу на его лице, разъял, расширил веки, блестящие шары вырывались из глазниц, в них могла бы Таня глядеться как в зеркало, так чисто и подробно они отразили ее. Длинные патлы распушились, словно сухое электричество пронизало их. "Мало я его люблю", -- подумала она.

-- Господи, да неужели вы не видели, что за последние дни мы потеряли с Мишей общий язык, говорим как чужие. И это не просто семейные сцены. В такие дни -- он ухаживает за Бродиной. Кто их знает, что они делают в тополях, когда он ее провожает. У нее муж дурак, пентюх, не видит или намеренно отворачивается, может, и покровительствует. А у Миши появился высокомерный взгляд, когда он смотрит на нее. Я не хочу сплетничать, но так мужчина смотрит на доступную женщину. Он воображает, что я ничего не вижу. Я вижу все, эти усмешки победителя...

Вермеенко, ежась, жалко улыбаясь, опустился на стул. В углах губ у него сбилась и засохла пена. Таня метнула взгляд на него и заморгала и заплакала, прижимая к лицу что попало, -- мужнину рубашу. Онуфрий Ипатыч вскочил, Несмело приблизился к ней, тронул волосы. Как бы ожидая ожога, отдернул руку. Она зарыдала.

-- Не надо, Татьяна Александровна, не то... Я шел к вам... помогите, поддержите. Сами видите, на какие страсти готовлюсь...

Наклонился неловко к ней, отдал неловко голову в ее тонкие руки, горячее влажное лицо прильнуло к его щеке, -- губ он не нашел, -- кровь шумела в ушах, как далекий прибой, и, казалось, точила жизнь, которую было не жалко. По животу пробежала щекотка. Этого он не хотел, почувствовал, что краснеет, выпрямился. Ее шея показалась сломленной, и сама она сидела как вдавленная в матрац. Вышел. Таня проследила за его гулками, ровно прогремевшими по всему дому шагами, встала, рванулась к дверям. "А любит-то, а душа..." Мысли эти гудели в ней, словно их пропели. "Я тоже пойду... вот надо сообщить только Мише. Он поймет, должен понять".

V

-- Придется тебя арестовать, Вермеенко. Одна печка-лавочка с теми.

Онуфрий Ипатыч сидел сгорбившись, в углу разворошенной своей комнаты и с последними словами Эффендиева поднялся с ободранного кресла. В комнату набилось сразу много народа: Эффендиев, два вооруженных милиционера, Крейслер, пан Вильский, понятые из рабочих. В этом необычном молчаливом многолюдстве не казались странными даже те истинно русские речения, которые бодро произносил официальный председатель рика. Арестованный, видно, приготовился, взял подушку, закатанную заблаговременно в одеяло, твердо двинулся к выходу.

-- Прощай, пан, -- сказал он, поравнявшись с Вильским. -- Прощайте, Михаил Михайлович, ничего вы не раскумекали, -- сказал он, поравнявшись с Крейслером. -- Вот она, мера человеческого счастья.

И прошествовал мимо, так выбрасывая ноги, словно переступал через невидимые распростертые тела. И

каждое это неловкое и важное движение тупо отдавалось в сердце Крейслера, неровно забившемся после странного прощания, слова которого были не вполне понятны и самому произносившему.

Михаил Михайлович с опустошенной и темной головой постоял несколько минут на крыльце флигелька, следя за тем, как шествие во главе с Онуфрием Ипатычем сворачивало к дороге на Черноречье. "Ну, кончилось, и к лучшему", -- прошептал Михаил Михайлович и вдруг схватился и почти побежал домой. Его толкала необъяснимая тревога, похожая на принудительное бодрствование, когда впечатления скользят по затвердевшему сознанию, не проникая в него, а лишь царапая поверхность, и беспокойство ничем не разрешается. "Мера человеческого счастья... мера человеческого счастья..." -- повторял он про себя. Эта бессмыслица обозначала грядущее, необыкновенно сложное бедствие, неотвратимое, могущее отнять полжизни, -- ну вот, как паралич разбивает половину тела, оставив биться мозг, исколотый ужасом.

Он бежал по двору, запорошенному остатками саранчи, которая лежала странно тихо и неподвижно. Должно быть, продолжалась линька, должно быть, среди этих остатков большая часть была заражена паразитами. "Надо бы исследовать", -- добросовестно отметил Крейслер. Несколько человек неизвестно для чего сметали омертвевших личинок в кучи. Это все были чужие заводу люди, даже подозрительные, кто их знает -- откуда и зачем они здесь. Занимаются они, во всяком случае, мало стоящим делом. Михаил Михайлович порывисто остановился, потом, весь сорвавшись как для прыжка в холодную воду, повернул в тополевою аллею, к дому пана Вильского. Тот возился с обмершей от пресыщения курицей.

-- Лишних людей надо ликвидировать с завода, -- сказал Крейслер сухо и невыразительно. -- Саранча окрыляется, им делать здесь нечего. Нельзя отвечать за имущество при таком сбросе. Бухбиндер ранен в ногу, слышали?

И, не продолжив разговора, размашисто зашагал обратно все с тем же грузом однообразных беспокойств. Но, подозревая самое худшее, не мог бы всей силой воображения представить тот мрак, который упал на него и оледенил, когда он увидел: жена сидела у комода и перегружала белье из среднего ящика в старый нескладный саквояж. Муж успел отметить в сознании ее заплаканные, почти счастливые скулы, чуть-чуть порозовевшие от напряжения. Она наклонила голову.

-- Да что же это такое, Татьяна?

И услышал далекий, мучительно спокойный голос:

-- Я видела, как его уводили. Я поеду за ним. Я должна помочь ему в тюрьме. Я делаю то, что нужно.

Итак, вот она -- мера человеческого счастья! Смешной, безобразный Веремеенко в последние часы предсмертной свободы (Крейслер был уверен, что расстреляют всех пойманных) отнял у него жену. Он почувствовал, как тело, мягкое, теплое, орошаемое внутри такой нежной здоровой кровью, начинает деревенеть, твердеть, чтобы выделить одну жесткую мысль: "Ну и пусть его, гада, расстреляют". Онуфрий Ипатыч, с лицом опыленным чем-то мертвенно-белым, видимым даже в полутьме, вяло переступает ватными ногами. Ему предлагают: "На-ка, закури, гражданин!" Он наклоняется взять папиросу... липкая мгла обливает Крейслера.

Татьяна Александровна возилась в восторженном смятении. Охваченная умилением перед собою и жаром самопожертвования, она не ощущала температуры окружающего. Эта странная чужая любовь, которую она презрела, теперь растеклась по всем жилам, теперь наплыла, как благоуханный ветер, теперь прояснила и высветила сгустившийся вокруг туман больных и противоречивых чувств, сделала драгоценным каждое движение, как первая беременность.

-- Ты лезешь в грязную яму! Ты мне гадка! Правильно, убирайся отсюда!

Тот же нестерпимый рот, тот же язык, тот же голос через несколько минут отдавал какие-то приказания во дворе, -- в другой вселенной. Таня простояла на коленях неподвижно, не чуя тела, больше часа. Его грубость утвердила ее правоту. Он бессилён изменить жизнь и кричит. Степанида позвала обедать, она отказалась. Она не могла оставаться здесь, чужая этому грубому, жестокому человеку. И, подавляя в себе глубокую боль от неустанно нывшей язвы вырванной любви к нему, она в тот же вечер уехала на станцию Карасунь.

Михаил Михайлович записал последние наблюдения:

"10/VII 1922, 8 ч. 50 м утра.

Температура на высоте аршина от земли 34°C, на поверхности земли на солнцем освещенном месте -- 41,5°C. Вся саранча -- в тени и на растениях. Происходит массовая линька личинок пятого возраста. Массового движения в определенном направлении не заметно. Питания личинок, а также взрослой саранчи не наблюдается. Количество во дворе завода и прилегающей местности сильно уменьшилось. Надвигается гроза. Гром".

Багровая, как кровоподтек, туча с пухлыми свинцовыми боками, рассекаемая частыми вспышками молний, набирая скорость, плыла на Черноречье, на завод. Она надвигалась на небосвод, как чехол на вагонный фонарь, поглотила солнце, пропускала на землю рассеянный, мутный свет. Крейслер подошел занавесить окно.

-- Зачем? -- произнес он вслух и остановился. -- Ведь это Таня боялась грозы!

Острая боль клюнула под левый сосок, он замычал, выбежал в столовую. Там завтракали муж и жена Бродины. Брови Мальвины Моисеевны взлетели любопытно и соблезнующе. Цветущий супруг ковырялся ложкой в пустой яичной скорлупе.

-- Сегодня можно ждать массового отлета окрылившейся саранчи. Надо бы заснять, Осип Александрович.

Бродин с угодливостью счастливица согласился. Михаил Михайлович, чтобы заглушить внутренний шум, тархтел о том, как редки и сильны в эту пору грозы в их краю, не замечая, что дама подергивается от каждого упоминания о молнии. Воздух чернел и чернел, как зараженная кровь. Мощный непрерывный гул полновластно вмешивался в разговор. Он усиливался. И вдруг под самым окном вырвалось острое пламя и грохот, оглушительный дребезжащий грохот, без эха, без смягчающего раската потряс дом, расщепил небо и землю, тенькнул стаканами и ложками, открыл поток ливня. В звон и грохотанье ворвался напоенный слезами крик: "Я боюсь!" Мальвина Моисеевна вцепилась холодными пальцами в ладонь Крейслера, больно царапаясь ногтями, лепетала что-то о темной комнате, о занавесках, о ставнях. Гром торжествовал над миром и над ее писком. Кольца кудряшек тряслись и как будто заглушенно звенели. Могучая трескотня грома победила все звуки. Можно было воображать, что бесшумно двигаются губы и скрипят суставы. Ее лицо исказилось истинным страхом, сочувственно поблекла и ясная краснота супруга, и он привскочил и, суетливо плюя Крейслеру в ухо, ввинчивал далекий вопль, что жену надо увести, спустить занавеси, наглухо закрыться... Она повисла у Михаила Михайловича на руке, дрожала, горячо терлась о локоть. Ее теплота смягчила сочившуюся в дом сырость, ее теплота пробивалась сквозь его кожу, и все его тело, вибрируя отзывом на ее нервную дрожь, напитывалось, как влагой, жалостью, нежностью. Он взглянул на нее, она привиделась как в тумане, резкость черт сгладилась, он подумал, что ее можно отнести на руках. И вспомнил, как в коридоре керманшахского караван-сарая он поднял на руки и поцеловал сестрицу в белой косынке...

Гроза глохла в сером сумраке спальни. Гром убирался с зенита. Дождь успокоительно шумел по крыше, по листьям. Водосточная труба захлебывалась и шумела в углу. Мальвина Моисеевна зарылась головой в подушки семейной постели, но, каким-то чутьем угадывая вспышки молний, смутно золотившие парусину занавесей, ежила плечи. Михаил Михайлович сидел рядом, она не отпускала его руки. Кровать отзывалась каждому движению. Гром бушевал где-то вдалеке, мягко рокоча, тишал, оставив ровный плеск дождя и журчание вод. Вонь серы и сырость подползли к постели. Михаил Михайлович обнял успокоенное тело лежавшей ничком женщины. Знакомая невинтица желаний струилась в нем. Она сбросила подушку, открыла розовое ухо, розовую щеку, повернулась, -- ему почудилось, преобразенная, -- прошептала:

-- Что вы делаете?

-- Пока ничего, -- ответил он с неожиданной для себя наглостью.

Сера смешалась с чуть-чуть кислым вкусом распутных, широкорастворяемых губ. Ее тяжелое дыхание свистело в ушах, било в лицо. Михаил Михайлович ужаснулся тому, что делает на Таниной постели, но эту

мыслишку снесло, как пушинку.

Поправляясь у зеркала, она огорчилась, что муж рядом. Ее крупная спина заслонила весь угол, где стояло подобие туалета. У нее распухла голова и развилась кудряшки. Крейслер грубо рассмеялся.

-- Нас ревновали без основания... ну вот...

По столовой он проскочил, прячась от Бродина, успев вполглаза увидеть, что тот сидел как брошенный куль.

Туча отливала серебром, удаляясь. Седой подол дождя волочился за ней по голубым теням, которые издали казались ароматными. Сзади вставал жидкий белесый день. Михаилу Михайловичу захотелось побежать за грозой в ребяческом раскаянии, в надежде выдохнуть все отвращение к себе свежему ветру и небесными каплями смыть с кожи следы чужого тела. Туча перевалила на юго-восток, к персидской границе.

Гроза не беспокоила саранчи. Личинки млели в сонном ожидании преобразования, и только взрослые особи, с еще необсохшими слипшимися крылышками, пытались скакать, питались остатками травы, почти на глазах увеличивались в количестве. Крейслер поймал взрослое насекомое, крепкое, страшное по сравнению с беспомощными личинками. Оно могло летать, глаза блестели, как зеленая фольга, оно потеряло свой личиночный защитно-травянистый цвет, у него появилось больше желтизны и блеска и сильно выделялись жеребья задние ноги.

-- В прежнее время боролись с саранчой и в этой стадии, с взрослой. Теперь считается это бесплодным, а если принять во внимание наши средства... Нет, уж теперь будем ждать, когда она улетит. Обычно саранча не остается на месте. У нас тут был один шарлатан, предлагал пугать ее горящими тряпками, -- это все, что придумало в его лице обезумевшее человечество...

Михаил Михайлович принуждал себя разглагольствовать. Бродин молча возился у тренога, намереваясь снять приготовление саранчи к лёту. Она, еще неловкими, но уже длинными прыжками, взбиралась по сучьям и ветвям тополей все выше и выше. Солнце властно сушило землю, сушило звонкие крылья, насекомые приобретали янтарный оттенок. Личинки, сбившиеся в кулиги во время дождя, сидевшие под защитой, теперь не отставали от взрослых, только что обливших, покинувших личиночную одежду, и бодро выползали на широкий свет разыгравшегося дня. На черной земле двора от травы оставались одни стебельки и огрызки, но он снова зазеленел и зажелтел, и тусклое солнце отразилось на живом покрове. Это уже не была та, плотно сбитая масса, которую жгли в полях, это были последние партии, раздробленные, разбитые отряды. Урон, который нанесла саранче двухнедельная борьба нескольких сот человек, был несомненен, хотя и трудно определим с точностью. Об этом и повествовал Крейслер обманутому мужу теплыми предупредительными словами, круглыми оборотами и все оглядываясь: может быть, кто-нибудь из зевак набредет на них. Красное лицо Осипа Александровича хранило скучное выражение внимания тому, что предстояло делать. Он вертел объектив, перетаскивал аппарат, искал какую-то точку.

-- Снимать ее трудно: мимикрия, подражание среде, -- говорил Крейслер.

-- Надо, однако, позвать Славку. Мешают только, -- проворчал Бродин, ушел, виляя задом. На круглой его спине пиджак морщился горестно.

К вечеру два огромных скопления, как два облака, лётной саранчи, выросшей в непроходимых карасунских тущобах, пронесли над заводом, как в прошлом году осенью. Они направлялись на пустынную Персию, может быть, по следам прошедшего дождя в поисках влаги и пищи, может быть, в исконное гнездилище в зарослях озера Бей.

А ночью Крейслер не спал. В двенадцать часов, как всегда, прекратила работу динамо-машина, об эту пору обычно он видел бы второй сон, но спокойный сон увезла с собой жена. Он посидел в темноте, но и она никак не напомнила о засыпании. Михаил Михайлович зажег свечку и принялся за обработку записей. Он уже давно решил написать статью в энтомологический журнал. Но в попытки составлять слова и фразы врывались неплодные мысли об Онуфрии Ипатыче, жене, Муханове. На пламя свечи налетали неведомые ночные бабочки, мягко шлепались о бумагу, изувеченные огнем. Из темноты доносились редкие крики ночных птиц, вой шакалов, шорохи спящей земли. И вдруг, почти под самым окном, Михаил Михайлович услышал встревоженную ругань мужских голосов. В освещенном поле у окна мелькнул бежавший откуда-то человек.

За ним, бряцая оружием, протопал милиционер, успевший крикнуть: "Поджигает, товарищ заведующий!" Крейслер взял браунинг и вышел во двор. Голоса приближались из темноты. Речи перебивались тяжелым дыханием.

-- Будешь поджигать! А еще борода до пупа.

Крейслер узнал голос помощника пана Вильского. Уже отовсюду бежали люди, пан Вильский в белом халате с фонарем колыхался, приближаясь, Степанида ахала за спиной. Милиционер, задыхаясь, рассказал, что заметил странную возню у двери одного из сараев, где были сложены бензиновые бидоны, аппараты "Вермореля" и всякая истребительная снасть. Он подошел и увидел, что кто-то разжигает костер у самого порога.

-- О, курва несчастная! Это же Маракушев! -- воскликнул пан Вильский, подымая фонарь к растрепанным седым волосам поджигателя.

-- Как же так, старик? За сахарок-то благодарил, как дитя радовался, а теперь... -- Крейслер замялся, он не умел чинить допросов.

Старик криво усмехнулся.

-- Да ты же только посулил, а не дал. А сынка-то взял.

Вся ночь прошла в возне с расследованием преступления.

Старик действительно едва не наделал больших бед. В сарае оставалось горючее.

На другой день поднялась вся саранча, линиявшая на заводском поместье. Крейслер вышел утром и всполошился: прекрасная тополевая аллея стояла голая, в черных сучьях, -- зеленые листья лежали у корней, черенки были аккуратно перекушены.

На стенах конторы нашли приклеенную хлебом безграмотную прокламацию, написанную химическим карандашом. Из нее с трудом можно было понять, что автор предлагает жечь всех заведующих и недобросовестное начальство.

-- Старичок-то сбрендил, -- сказал Михаил Михайлович пану Вильскому.

## Глава десятая

I

Таня поселилась в облупленном каменном особнячке, сохшем за чахлыми пыльными деревьями на каменной улице, в которой все звуки отдавались шепеляво и протяжно. Прельстивший ее крепостью и изяществом домик внутри оказался мерзостно запущенным, с зыбкими трескучими полами, с гнилой вонью, с пыльно-радужными окнами, как пятна нефти на воде. Глядя на них, хотелось заранее чихнуть. Вещи в комнате, казалось, подмигивали. Истлевшие пуфики ползли по швам на глазах, стулья рассыпались. Владелицы, сестры Римма и Инна Ильиничны, слыли по дощечке над воротами под общей девичьей фамилией Блажко, хотя честно вдовствовали. Они были неопределенного, вроде ресторанных пальм, возраста, целыми сутками лежали на двух кроватях рококо, в забитой мебелью спальне, всегда подрумяненные, в прическах цвета и вида банной люфы со старомодными валиками. Кружевные несвежие матине растекались по засаленному шелку голубых одеял. Их разорили, наступала старость с болезнями, и больше всего они любили говорить о нищете и недугах. Квартирантка заходила к ним и постоянно заставляла их за едой, причем тарелки мгновенно прикрывались чем попало. Старшая, Римма Ильинична, пухлая, крупноногая, дряблокожая, совала страшные подагрические пальцы, хрустела суставами, голые руки ее были толсты, как ноги, и в сосудах, казалось, вместо крови струилась сметана. Младшая была полегче, потоньше, но и у нее локти с ямочками напоминали детские щеки. Жаловалась она на нервную экзему, но в таких местах, что и показать нельзя. Таня в те недели горела непрерывным желанием говорить и делать правду, что-то угловато юношеское укрепило даже ее походку, и однажды сердито брякнула:

-- Вы ноете для того, чтобы разжалобить людей и заставлять работать на вас целыми днями Симочку, благо она бесправна и не пойдет кляузничать на мать.

Сестры зашипели, как гусыни, а Симочка, зеленоглазая девушка, похожая на кузнечика, которой трудно было дать девятнадцать лет, -- на вид ей выходило от силы шестнадцать, -- обняла Таню в полутемной кухне, заплакала.

-- Дряни, дряни, и Римка, и Инка. (Так она звала мать и тетку.) Я убежала бы с Ростиславом, да куда денешься? Без средств, ни ложки, ни плошки...

Славка изо дня в день слонялся по противоположному тротуару, делая какие-то знаки в сторону дома Блажко и играя янтарными глазами. Денег на киноэкспедиции он заработал мало. В Симочке тлела осмотрительность Блажко, домовладельцев в пяти поколениях, побег и брак откладывались. Сестры опасались, что внезапно нагрянувший обольститель (Славка или кто другой) похитит даровую работницу, пугались даже мужского голоса в доме. Расправу со Славкой откладывали до свержения Советской власти. Иногда к ним заходил брат, Андрей Ильич. Его окликали еще у парадной настороженно и враждебно, всегда спрашивали, один ли он? Немногословный и медлительный, он ссыхался, как старая дева, жил впроголодь, но бережно донашивал довоенные пиджаки и шляпы и приносил сестрам не меньше половины ежемесячного жалованья.

-- Я пошла в дядю Андриюшу: у него мохнатые брови и овечье сердце. Вот только картошку он чистит в хирургических перчатках, а у меня посмотрите, какие руки, срам...

Он служил в верховном республиканском суде, оказал несколько услуг Татьяне Александровне и кое-что в пределах строго дозволенного службой сообщил о ходе саранчовского дела, с которым невероятно спешили.

Таня дивилась городу: за год он похорошел, защеголял, вывески блестели, как умытые. Улицами завладели маляры, правда, покуда только маляры. Она первое время подолгу не засыпала от вечернего шума и страха одиночества. Плохо и лениво ела. Но зато совершенно прекратилась малярия. День за день Таня стала находить вкус в заботах о себе. Михаил Михайлович, узнав адрес официальными путями, за четыре недели два раза прислал деньги и пять огромных писем.

"Какие-то связи порвались между нами, -- писал он, -- иногда мне думается, что они порвались раньше катастрофы, которую принесла саранча. Зима, одинокая тоскливая зима, первая в пределах России и похожая на персидское прозябание, перетерла нити, которыми держался наш брак после смерти дочери. Ты мечтала о доме, я не дал его.

Дом, семейный дом, это ведь не только квартира, в которой обитают муж и жена. Дом -- это муж, жена и дети, ...довольство. А тут нищета и мрак безысходный. Я верю, будь жива Мариночка, мы не разошлись бы".

"Я -- НЕ ДОЛЛИ ОБЛОНСКАЯ, ИЗМЕНЫ НЕ ПРОЩУ ДАЖЕ РАДИ ДЕТЕЙ",

-- так начала она ответ и не дописала. Он прислал встревоженную телеграмму, она отозвалась:

"ЗДОРОВА, ДЕНЬГАМИ ВОСПОЛЬЗОВАЛАСЬ ЗАИМООБРАЗНО. БЛАГОДАРИЮ".

Денег все время не хватало, она питалась баранками и мацони. Больше всего поглощали передачи Онуфрию Ипатычу. От него получались нелегально письма, которые она стыдилась читать, так эти мятые серые клочки были исполнены любви, благодарности, грамматических ошибок, словно их писал ребенок, в котором подобные слова и чувства неестественны:

"Я получил опять икру и конфекты, за что мне такие благодеяния. Если я заслужил их своей неудачной любовью, а если это только жалость... Милая, ненаглядная, я перед страшными часами нахожусь в жизни, вы мне и заступница и отрада. Как мне благословлять вас, я томлюсь в беззвучной камере. Брат и мать фактически отказались от меня, как и надо было ожидать, до последнего издыхания молюсь на вас. И пусть, пусть мне не было дано даже ни одного поцелуя, -- кровь моя -- ваша, как душа и сердце".

Как-то он написал ей:

"Я устал, хоть бы скорее конец. Одиноко мне, нечего делать, и шуму кругом нет, чтобы заглушить мои думки. Отвечаю на все вопросы следователя, и он стал часто вызывать меня. И я отдыхаю, когда меня ведут по улицам, все же видишь вольных, а может быть, кажется, и вас встретишь".

И она этой слабости и усталости поверила больше, чем любовной тоске, и он стал ей ближе. Сухой восторг гнал ее в темные передние учреждения, в прокуренные комендатуры с запахом пропотевших сапог и

истерическими выкриками. Позже, перед судом, член коллегии защитников Братцев, рябой и моложавый человек, с такими движениями, словно он собирался сейчас взлететь, спросил, кем она доводится его подзащитному. "Никем, он любит меня". Братцев побагровел, стал заикаться, и плачущий голосок его (ей вспомнилось, что в суде адвоката звали "Москву слезой не купишь") зазвучал обиженно... Стоило больших трудов уговорить его взяться за дело Веремеенко: адвокаты еще не знали, как вести себя в хозяйственных процессах, потрухивали, -- и Таня начала придумывать правдоподобный рассказ об отношениях с Онуфрием Ипатычем. Признание в близости все рассеяло бы, но показалось невыносимым произнести эту ложь. В уголовном розыске ее для упрощения считали за сумасшедшую родственницу, только морщились на ее раздраженные крики о беспорядке.

Она преобразилась.

Я с вязала свою участь с преступником, что с меня возьмешь, -- заявила она однажды.

Сказано это было при особых обстоятельствах. В одно ветреное утро, обещавшее бешеный зной к полудню, Таня заняла место в длинной очереди с передачами. Человек на пять впереди суетилась коротконогая круглая женщина с двумя большими узлами, все совала один белоголовому мальчику и, когда тот хныкал, уставая, отбирала обратно.

-- Сташек! -- позвала Таня.

Мария Ивановна повернула на восклицание мокрое лицо шафранного оттенка, не удивилась, поклонилась сухо. Однако Таня подошла к ней.

-- Мой-то пан тоже попал. Оговорили ваши-то! -- злобно прокричала Мария Ивановна, чтобы другие слышали, -- будто он им помогал через границу переправляться, мой-то, мухолов...

-- Почему же у вас две передачи?

Толстуха спрятала глаза, отмахнулась.

-- Да муж, когда брали, велел и о дружке позаботиться, об Онуфрии. Нет ведь у того никого. Брат-то, знаете...

-- Про меня вы позабыли?..

-- Словно позабыла.

Возвращались вместе. Мария Ивановна смякла, рассказывала, как убивается Михаил Михайлович, рвется сюда, да завод не пускает, приходится ожидать начала дела или вызова к следователю. Вот тогда-то, на прямой вопрос, Таня и заявила о своей участи.

-- Мудрите вы очень, -- проворчала Мария Ивановна опять неприветливо. -- Либо сердце у вас холодное, либо дурная голова ему покою не дает. Прощайся, Сташек, с тетей.

И Таня не обиделась!

## II

-- Дело назначается слушанием в начале сентября. Следователь гонит, в Москве заинтересовались, -- сообщил Андрей Ильич, зайдя к ней в комнату от сестер. -- Очень способный молодой человек, но жесткий, из новых.

Каким-то своим шумом отозвались ее уши на эти слова. Руки утомленно опустились. В глазах позеленело. Зеленый медный привкус отравил слюну. Твёрдый язык едва повернулся пролепетать: "Ничего, это так... я всегда волнуюсь". Она и в самом деле подумала, что взволновалась об участи подсудимых. Всю ночь ей снились страшные сны, а один разбудил и уже не дал задремать, хотя она намоталась за день, едва, добралась до постели. Кто-то усатый, -- она знала, впрочем, что это прежний муж Михаил, -- крепко целовал в грудь, в соски, отчего стало неприятно и горячо. Побежала умываться, вода тоже показалась теплой, не смывала ни жара, ни щекотки. Таня проснулась, -- вот сейчас умрет, -- с криком на губах. В окно сыпалось бледное известковое небо рассвета, пыльное уже и в этот ранний час. Принялась соображать, какое число, выходило 21 августа, подсчитывала другие сроки и то обливалась потом, то леденела. Правда, за время

болезни правильное течение ее женской жизни нарушалось не раз, но тут выпал что-то уж очень длинный перерыв...

Около полудня ей пришлось проходить по бульвару, у самого берега моря. Рейд жестяно поблескивал, зной, казалось, плавил яркие краски на бортах пароходов, из труб которых изредка выбивался жидкий пар. Таня вспомнила приезд из Персии: Миша, смотря в темноту на город с пароходного носа, сказал что-то вроде следующего: "В России уж мы помучимся, да не соскучимся. А Маринке жить будет, должно быть, вовсе хорошо. Там все в будущем. Я не лезу в большие забияки, однако за себя постою". Таня горько усмехнулась.

Легкая муть смягчила, сгладила короткие густые тени, которые зияли на горячей земле, как ямы. словно бы редкое облако налетело на солнце. На миг стало душнее, суше, -- если могло быть суше, -- поднялась, завертелась песчаная пыль. Послышалось легкое завывание, как будто где-то вдалеке тронули мощную струну. С северных краев амфитеатра, в котором сидел город, рушился серый ветер. "Норд", -- подумала Таня. Солнце в ответ сделалось коричневым, словно запеклось и потемнело. Песок и камни кололи щеки, руки, больно секли по ногам. День мерк с каждой секундой. Дома, трубы, мачты, деревья слились с непроглядной мглой. Как будто из подполья, завывало море. К нему рвался грохот города. Гремели железные листы, хлопали ставни, жалобно плескался флаг. Пустой бидон пронесся мимо носа Тани, за ним другой. Ураган рвал, ломал, гремел. Слепшая, оглохшая Таня пробивалась, вытянув руки к воротам, -- там обычно стояли фаэтоны. Пыль скрипела на зубах, забила дыхание, от нее разило аптекой.

Коляску метало, как скорлупку, извозчик, крашенный хной перс, прыгал, изгибался на сиденье, удерживая равновесие, лошади едва тянули экипаж по площади, пробираясь к улицам. В улицах было тише, ураган неистовствовал где-то поверху. Насилу добрались..

В комнате мглисто хозяйничала пыль. Песок набился сугробиками на подоконниках и в углах, у невидимых, щелей, как копоть, покрыл стол, подушки.

Таня прошла в спальню к сестрам. Там все было наглухо занавешено, горело электричество, пахло пудрой и сном, -- Таня вдруг пожалела, что ее не унесло бурей, которая свежо и грозно гроыхала крышами. У сестер в гостях торчала старая армянка, бывшая горничная, жившая теперь в убежище. Пепельное лицо ее ссохлось в сетку морщин, кожа словно собиралась расшелушиться на отдельные пластинки, черные глаза моргали просительно и недобро. Она чем-то напоминала Тане мать Онуфрия Ипатыча. Все давно выболтались, зевали, и Таня рассказала, какой странный сон ей приснился.

-- Это к большой неприятности, -- заметила с удовольствием Инна Ильинична, -- к потере или смерти близкого человека...

Симочка прикрикнула на нее:

-- Рады сказать гадость! -- и истолковала сновидение как предчувствие перемены погоды.

-- У нас по-старому сны объясняют, -- вмешалась старуха, трудно подбирая выражения, но мысль ее и за этой беспомощностью казалась кичливой. -- Много тысяч лет у нас объясняют сны, слыхала? Персы нас учили, а может, еще раньше. Ребеночка ты хочешь, -- коротко вымолвила она, -- груди жжет к ребенку, в воде купать -- к ребенку. Вот что такой сон означает.

Таня, злясь на себя, покраснела, сестры замычали согласно и в тон что-то невразумительное и осуждающее, с постным видом. Одна Симочка захлопала радостно в ладоши, захохотала, на нее зашикала Римма Ильинична и язвительно пропела:

-- Ты, матушка, молода, и твое дело молчать в тряпочку. Без мужа родить ах как невесело, далеко не удовольствие, да при такой-то власти...

-- Я еще не собираюсь рожать, напрасно огорчаетесь.

И Таня вышла.

### III

Вероятно наказывая за строптивость, сестры за день перемазали гору посуды: поздно вечером, -- Таня уже

собиралась спать, -- Симочка еще возилась с тарелками на кухне. Во всем доме только и был слышен скучный тупой дребезг фаянса и цинка да шум воды в раковине. Таня предчувствовала, что не заснет. Она знала мучительное состояние этой бодрой истомы; бесконечная ночь парит и душит, впивается в тело каждая пружина матраца, кусает каждая складка, простыня липнет к коже, на всей постели нет ни одного прохладного бугорка. Пелена дремоты наплывает, долгожданная, измученное сознание зовет ее, но какая-то разуженная жилочка отозвалась болезненно на легкий шорох, сердце замерло, и бурный страх сотряс все существо.

Таня пригласила Симочку зайти поболтать, когда кончит. В этом доме постоянно скулили. Таня предвидела, что и девушка будет ругать родственников и жаловаться, но лучше обречь себя покорно слушать, чем бороться со своими мыслями и бесплодно вызывать дремоту. Симочка явилась лихорадочно-добрая от переутомления, в синем платьишке с засученными рукавами. Запах кухонного жира исходил от нее, влажные руки припухли, покраснели.

-- Господи, какие мы несчастные! Мужчина -- одинок, ему только легче. Женщина -- одинока, лезь хоть в петлю, -- тут уж никто не поможет. Каждый с тебя готов что-нибудь сорвать. А теперь в особенности...

Она, видно, искала хода к тревогам и грусти Тани, та оценила это. Но девушка быстро перешла на свое и придушенным голосом, изредка срываясь на шепот, повествовала об огорчениях Золушки. Мать посылала ее к ювелиру с браслетом, а браслет этот оставлен бабушкой в приданое Симочке. Не первая ее вещь идет в общий котел, на строгую и дорогую диету, а от белого мяса и молока ее мутит. Таня сидела на кровати, не отрываясь смотрела на желтые нити электрической лампочки. Белая каменная комнатенка в чужом городе наполнялась до осязательности образами прошлого, сквозь полубред прошли родители; их давно уже нет в живых, -- старый, нравоучительно сварливый отец в сером, неприятно шуршащем подряснике и сухая болезненная мать, боявшаяся смерти и стяжательная в жизни. Мальчики не рождались в семье, девицы были на редкость несходны лицом, но с одинаково неудачной судьбой: не выходили замуж, недоучивались, хворали. Таня, младшая, никого не любила. Представила себе разоренный московский дом, сказала:

-- Смотрю я на вас, Сима, -- ведь и мне, будь я моложе и не замужем, пришлось бы корпеть на такой же домашней каторге. Только у меня деспотов было бы побольше и вкусы их поразнообразнее, и требования, и истязания. Я и в старое время видела, как звереют от нищеты обедневшие семьи, бывшие эти люди. Спаси бог! Куском друг друга попрекают, дерутся, ссорятся и поодиночке, и союзы составляют. А попадает самым младшим, самым слабым, на них уже все наваливаются. И все-то нотации читают, все воспитывают. Я от такого воспитания сестрой милосердия на персидский фронт сбежала, хоть пугали малярией, и холерой, и чумой. Там только в первый раз свободно и вздохнула. Уж кто-кто, а свои родные послабления не дадут, не пощадят. И управы на них нет.

-- Ну, найдется! Выход один, что у вас, что у меня, -- давно додумалась: удрать и выйти замуж надо. Ах, если бы мой долговязый Славка не был таким увальнем!

Она как-то по-стариковски сморщилась, покачала головой. Таня усмехнулась.

-- Тоже скажете, -- увальень. Он горит весь, ведь ему и двадцати лет нет. Впрочем, я к нему пристрастна. Как он меня выручил, что устроил у вас. Его все любят. И вы его любите, он заслуживает.

Симочка даже пальцами хрустнула, даже взвизгнула:

-- Люблю. Съела бы!

И, испуская "увальня", перечисляла все красоты и стати жениха. В забвении она не заметила бледности на лице Тани. -- Ее словно обдало меловой пылью, молодая женщина, помертвев, повалилась на подушку, закусила губу, почувствовав знакомое коснение языка, словно заливаемого каким-то вредным настоем.

-- Вот, вот... -- насили ворочая языком, медленно выговорила она. -- Я вас звала... некому сказать... помню, такие же ощущения были и в первый раз... только не так сильно... моложе была... ведь я беременна.

Девушка всплеснула руками, заахала, всполошилась, лепетала. Таня распласталась навзничь, желваки мускулов играли на щеках. Боролась с тошнотой, побеждала понемногу. Симочка тарыхтела в темном коридоре, бежала за водой. Таня раскаялась, что призналась девчонке. Но было уже поздно, вода текла по губам на подушку, кипели вопросы:

-- Да от кого же?.. С тем, который в тюрьме, вы же не жили... Как же это может быть?

-- Какие вы глупые вопросы задаете, Симочка! -- и Таня защищалась слабой улыбкой от деятельного соблезнования, отстраняла стакан. -- Ведь я все же замужем. -- Она помолчала. -- Но это никак не меняет дела. Я ушла от мужа... навсегда... и должна одна справляться с ребенком... или его не должно быть...

Она несколько раз повторила это "не должно быть", точно от слова вырастет решимость. Симочка назвала ее про себя бездушной: безжалостный огонь пробивался сквозь полусомкнутые ресницы.

-- Ах, если бы мне его... этого ребенка...

Симочка промолвила это тихо, мечтательно, ревность кольнула Таню.

-- Ребенка? Вам? Да разве вы... близки... со Славкой?

Симочка кивала головой, спокойно приговаривая что-то про себя. Перед Таней сидела не девочка, которой по телосложению и умственному развитию нельзя было дать больше шестнадцати лет, а взрослая, страдающая женщина с помыслами о материнстве.

-- Да. И я ходила к врачу. Какая-то там инфантильность матки... и на весь век... и никогда не будет.

Таня уже жалела ее, как равную, отстранив собственные тревоги, в тени этого безысходного несчастья до могилы их можно было считать мелкими и временными. Но Симочка, не останавливаясь, говорила, что у матери кое-что припасено ей в приданое, но сломить старуху, принудить дать разрешение на брак со Славкой могла бы только беременность. Эти стенания о "приданом" в другое время рассмешили бы, но Тане было не до смеха, по собственному опыту видела, какие мелочи могут менять судьбу, искажать намерения.

-- Жизнь стала жесткая, все стрижет под гребенку, окорачивает и любовь, и страсть, не дает исполнить то, что считаешь необходимым для своего спокойствия. Мало у меня горя, -- теперь новое осложнение.

И Таня откровенно рассказала о разрыве с мужем, о разговорах с Онуфрием Ипатычем (в ночь, когда муж был у Траянова, и перед арестом), о требовательной преданности человека, обреченного на смерть или на долготное заключение.

-- А вы любите его?

Симочка задала тот вопрос, на который не раз наталкивалась Таня, и неизбежно вместо ответа видела перед собой бледное лицо Онуфрия Ипатыча, когда он зашел к ней проститься, слышала голос, прерывавшийся от муки. Она стыдилась, вспоминая его дрожь, растрепанные движения, неметкие руки, он не сел, неловкий и униженный, по щеке пробежали его влажные губы, -- нестираемый след. От его слов, от его глаз дуло расслабляющим жаром, увы, -- она не нашла этому названия.

-- Люблю ли я его? Я не могу убить человека, отдавшего мне жизнь, пошедшего ради меня на все, и я должна... А вот прочтите... это пишет мне муж, сюда, теперь...

Симочка долго шелестела листами. Таня лежала и грезилась зеленым платаном над красной крышей. Город стрекотал дальним грохотом экипажей, мощно и бескрайне зыкали пароходные сирены, угасая за гранью мира, тонко и ободряюще куковали маневровые паровозы вовсе близко, чуть ли не во дворе. Все эти звуки твердили об одном: о поездке, о путешествии, о встречах. Крикливый мужской голос, несмотря на поздний час, все кликал какого-то Измаила, замолкая на несколько минут и снова принимаясь за безнадежный, скулящий зов. Тане хотелось высунуться в окошко и закричать глупому старику: "Не придет твой Измаил! Никогда не придет, не дозовешься!" Она боялась разрыдаться. Симочка аккуратно сложила письма, вздохнула.

-- И вы могли бросить такого человека, как ваш муж? Он все прощает, пишет такие письма, заботится, жалеет.

-- А я вот не отвечаю ему...

Тщеславие и слезы послышались в голосе Тани. Симочка неприязненно усмехнулась. Почувствовав себя старше и уравновешеннее этой странной болезненной женщины, требующей от жизни больше, чем можно мечтать.

-- Вы как будто с луны свалились, -- наставительно сказала Симочка.

Таня поднялась с постели, словно хотела перебить. Та ускользнула, повторив:

-- Заботится, жалеет. И ради чего? Ради чужой любви!

-- Забудьте, вы ничего не понимаете, девочка...

Но, должно быть, досада и намеренная сухость этих слов звучали ложно, Симочка не унялась.

-- Вы же только что рассказали мне свою историю. Если вы считали меня девочкой... -- она замялась, Таня не перебила. -- Ну да, если считали... Но ведь не считали. Да мне и Славка, когда вас устраивал на квартиру, рассказал, я и тогда поняла много... Вы сами насилуете себя.

-- Уйдите, -- сказала Таня, -- уйдите, уйдите, -- глуше повторила она, вскочила, сама подошла к двери. И, вскинув руки к притолоке, как будто обнимая тень того, кто только что скрылся за этими створками, заплакала.

Симочке пришлось повозиться с ней почти до рассвета.

#### IV

Дня через два Таня встретила с мужем. Она только что вышла из полутемного и прохладного вестибюля суда, солнце бросилось на нее, со всей нещадной ласковостью вцепилось в лицо, -- даже голова закружилась. Прислонилась к стене, закрыла глаза, два багровых горячих круга затрепетали под веками, большой палящий диск прикрыл лоб. Обвинительное заключение, как она узнала, не сегодня-завтра будет вручено обвиняемым, дело назначалось к слушанию через неделю-полторы. Смутное желание потерять сознание, полное боли, тревог, опасений, упасть на землю -- и пусть пепелит солнца -- сгореть, не видеть ничего, не слышать, накатило на нее. И она в самом деле едва не грохнулась, припала к шершавой штукатурке, услышав (голос как трубный грохот):

-- Таня, ты?

Открыла глаза, кровавая муть застилала их, тот же голос оглашал весь мир:

-- Да что с тобой, детка? Тебе плохо?..

Крикнуть бы: "Да, плохо, очень!..", но он взял за руку.

-- Нет, нет, -- сказала она, вырывая руку. -- Мне ничего, совсем ничего... Так задумалась, испугалась... от неожиданности это бывает, не узнала...

-- "Бывает, не узнала". Редко так бывает. Ну, здравствуй.

Прошептала "здравствуй" и быстро, почти убегая, заторопилась по улице. Франтоватые зеваки, что, шаркая контрабандными ботинками, фланировали по тротуарам, с пронизательной ухмылкой, долго наблюдая, как рослый рыжеватый гражданин преследовал худенькую, невзрачно одетую девушку в платочке, отмалчивающуюся на заигрывания.

Михаил Михайлович рассказывал, что приехал по вызову следователя и что допрос вымотал душу. Ему хотелось, чтобы она отозвалась на жалобы ласковым словом. Таня шла с повисшими руками, опустив глаза. На скулах, на остром с горбинкой носике появился загар, она посмуглела, погрубела, посвежела. Михаил Михайлович запинался, едва удерживался от порыва схватить ее, крикнуть, что не такой недотрогой видел ее в одиноких мечтах, напрасно она прикидывается костистой и недоступной, все равно он знает ее всю, она никуда не уйдет из властной памяти живого мужа.

-- Какие показания ты дал у следователя? И о ком он спрашивал?

-- Главным образом, -- Крейслер сглотнул слюну, -- о Веремеенко. Я говорил все, что знаю, и правду. Я, собственно, дал характеристику, потому что о преступлениях что мне известно? Сказал, что он добросовестный, но неровный работник, неумоим и ленив одновременно, по-хохлацки.

-- Его нужно спасать хотя бы даже ложью. Его расстреляют, и я не буду жить. Все ведь для меня сделано...

Крейслер едва различал слетавшие с ее губ слова, сухие, как шелуха. Приходилось каждое повторять про

себя, чтобы понять, о чем идет речь. От этого напряжения стало ломить глаза.

-- Ложь не поможет, Таня, может лишь повредить. Не с детьми же мы разговариваем. А следовательно непримирим и умен. У него лицо расстриги-монаха из северного какого-нибудь монастыря. Это ведь он верно сказал про Онуфрия Ипатыча: "При всяком режиме ваш Веремиенко мог бы попасть в такую же историю от неустойчивости и страстей. Раньше только меньшим поплатился бы".

-- Пусть он судит себя сам. Он ни в чем не запирается, не тебе отягчать его участь.

-- Судит себя сам? Если бы ты побывала в наших степных поселках, некоторые из них разорены саранчой, к зиме опустеют. Там только и слышишь, что расстрелять мало...

-- Ну, я не слышу. Я ничего не слышу, я живу своей душой.

Что за мертвенное уединение? Он готов был схватить ее за плечи, потрясти, заставить завизжать, нагнать улыбку, но вывести ее из этого холодного безразличия, пусть напускного, даже хуже -- если напускного.

-- Помнишь, как ты боялась уехать, переселиться в город со мною? А теперь одна...

-- Потому так спокойно уехала, что одна, когда мы вернулись сюда из Персии, ободранный город напугал меня. Эта ужасная гостиница... Теперь не то... Да и я другая. Вы, мужчины, любите говорить, что вас связывает брак. А и нам он не дает развернуть все душевные силы.

"Откуда у нее такой разухабистый тон?" -- спрашивал он себя. Она упрямо и зло твердила свое, словно кидалась к дверям, в которые хотел ворваться посторонний. Но в ней не чувствовалось настоящей убежденности, по крайней мере Михаилу Михайловичу не хотелось ее признать. Он довел жену до дому. Она открыла калитку у ворот и, глядя во двор, сказала:

-- Не будем мучить друг друга. Не будем встречаться, ничего не вернешь.

Он еще долго простоял перед низеньким домиком с наглухо закрытыми непроглядными окнами в пыли и радужных пятнах. Возвращался в гостиницу с такими тяжелыми думами и ощущениями, что они казались навеянными болезненной дремой: вскинешь голову, -- рассеются. Он и вскидывал головой. И, не замечая расстояния, миновал квартал за кварталом, заблудился в тесных туземных закоулках, спрашивал дорогу, объясняли. И все это не разгоняло тяжелого бреда, побеждавшего шумную, непривычную действительность города, которая лишь изредка наплывала на его горе, как назойливое, неуместное напоминание.

Вечером в номер постучали. "Она!" Он метнулся к двери с шумящим сердцем. "Войдите!" -- крикнул и по тону этого приглашения понял, что влезет кто-то другой, успокоился, заскучал. И было от чего. Явилась Марья Ивановна, с одышкой (при каждом вздохе у нее внутри что-то влажно шлепало), наполнила маленькую комнату с безличными гостиничными запахами крепким веянием бабьего пота и деловитыми рассуждениями. Она прекрасно разбиралась в статьях закона, предсказывала, что кому грозит, бодро возвещала:

-- На мелких, вроде моего, обращать внимания не будут. Хотят, чтобы наказание на главных обрушилось. Знаете, у большевиков -- все агитация. И многих, как я слышала, вовсе без внимания поэтому оставили, свидетелями. А мне шепотком намекали, -- можно было примазать... бездействие власти, вот что они допустили, халатность такую.

Толстуха помаргивала лениво и хитро, Крейслер решил, что она намекает на него, считает, что он тоже виноват. Забавно. Стало как-то легче с этой женщиной, принесшей другие размышления. Она стала расспрашивать о детях, которые жили под призором Степаниды. Вздыхала:

-- Осиротелые мы с вами.

-- По правде говоря, я не ожидал от вашего мужа, что он впутается из-за пустяков в такое дело, -- сказал Михаил Михайлович. -- Семейный мужчина должен быть осмотрительней.

Никто не замечал, а Марья Ивановна заметила, что Крейслер любил проповедовать. Она смиренно опустила глаза, внимала. Сядет человек на любимого конька, -- и выболтается.

-- Не имеет права мужчина бросать женщину, -- говорил Михаил Михайлович уже о своем, -- если он прожил с ней несколько лет, взял ее молодость. Что она без молодости и свежести! Женщина другое дело. Нашла

силы, -- ушла. Что ей долгого, люблю ли я ее, детей от нее хочу. Это самое главное. Не по принуждению, а по доброй воле...

Он замолчал. Глаза отсутствовали. Марья Ивановна кашлянула. Он молчал.

-- Не любит Татьяна Александровна Онуфрия Ипатыча! Последовала за своей мечтой. Самоотверженность показать и истинную любовь. Ожгется! -- жестко отрезала Марья Ивановна. -- Жизнь ее обломает. Эх, Михаил Михайлович! Росту в вас -- сажень, а сердце как у ребенка. Жалею я вас. Есть у меня за вас словечко...

Она рассказала о своей долгой связи с Онуфрием Ипатычем..

-- Пан, может, знал, да не обижался. Никогда у нас про это разговору не было. А вот ваша Татьяна Александровна не простит. Ее как холодной водой окатить можно.

Михаил Михайлович вспомнил грозу под Карасунью, серные поцелуи и мощные объятия и крепкие ноги мадам Бродиной. "Не простит". Марья Ивановна просталась. Ушла, опять напустив таинственности, обещалась наведаться. Оставшись один, Крейслер чуть не бросился за ней, остановить, умолить, чтобы она пощадила Таню. "Ведь как она расскажет, как подаст!" Но в него влилась медленная и злая мысль и как будто припаяла его к креслу: "А меня щадили?" Он шептал, жестикулировал, разыгрывал про себя целые сцены, где Таню разоблачали, ей раскрывали гнусности Веремиенко, и, как во сне, во всем изображенном нельзя было заметить ни одной несообразности. Из бреда его вывел новый стук. Вошел посетитель вовсе удивительный -- Славка. Этот завел было издалека, с каких-то своих разногласий с Бродиным, допустившим по отношению к нему большую подлость в расчетах, из-за чего он не может жениться. Михаил Михайлович приготовился к неприятным излияниям, но гость неожиданно вытащил из кармана завернутую в бумажку спичечную коробку, раскрыл ее, подал.

-- Вам знакома эта вещь?

-- Еще бы!

Михаил Михайлович узнал изумрудные серьги, которые пять лет тому назад купил в Тегеране и подарил Тане, тогда еще невесте. Изумруды были недорогие, с трещинками. Земсоюзский фармацевт Мышковский неделю бранил его за покупку, за то, что переплатил. Но деньги все равно были выиграны в карты, тегеранский рынок -- не парижский, а самое главное, Таня полюбила сережки и прозвала их талисманом. И вот талисман у Славки... Крейслер сразу понял -- продает. Значит, далеко зашло...

-- Татьяна Александровна просила мою невесту, Серафиму Христофоровну, ликвидировать... У нее мать и тетка -- мегеры, но живут тем, что распродают старье, так что есть связи, вот она и передала...

-- А мне-то зачем вы все это сообщаете?

Славка поднял обиженные янтарные глаза.

-- Дело касается не только продажи... Ваша жена просит за них пятьдесят рублей золотом. Ей необходимо, но это трудно, -- таких цен нет... Но и не в этом загвоздка...

Он путался, видимо, виляя, обходя какое-то затруднение, вынул платок, без нужды сморкнулся. Крейслер ждал какое-нибудь несурзадного предложения, но в голове вертелось неотвязное: "Значит, далеко зашло", -- вытесняло все, что еще долго расписывал юноша. На лице Михаила Михайловича покоилась смущавшая гостя скука.

-- Черт дернул меня взяться за это дело! Только уважение к Татьяне Александровне... так трудно сказать... если бы не любимая женщина, я не торчал бы у вас с этими глупостями... вот бабы...

Он привскочил и в черной своей рубашке с засученными рукавами напомнил флагшток, с которого ветер сорвал флаг. "Далеко зашло..."

-- Жена ваша собирается сделать аборт, а моя невеста не хочет и считает, что вы имеете право и должны помешать: ребенок ваш...

Юнец выпалил трудное сообщение, откинулся на спинку кресла с видом полного облегчения. Крейслеру стало невмоготу от этой развязности.

-- Послушайте, откуда ваша невеста осведомлена, что я должен делать и на что и какие имею права?

Славка побагровел, снова спрятался за носовой платок, на глазах как будто показались даже слезы.

-- Я всегда говорил, что женщины напутают и посадят в калошу. Вы же должны понять мое дурацкое положение! Э, да что там распинаться, пускай сама все объясняет!

-- Кто сама? -- Крейслер осекся. "Неужто Таня?"

-- Да Симочка... моя невеста... ведь она там внизу ждет. Разрешите, я сбегаю за ней?

Пахло чем-то загадочным, серьезным. Но навязшая в мозгу фраза, что все "так далеко зашло", не давала вполне вникнуть в сообщения юноши. И так, Таня легко расставалась с талисманом, положившим основание их любви. Михаил Михайлович уже достаточно мог убедиться в том, что разрыв не шутка, но только теперь увидал, как безнадежны все разговоры о примирении. Славка убежал, в номере сделалось слишком просторно, глухо, душно, и в спертости этой -- беззвучно. Михаил Михайлович растворил шире окно, шибануло распаренным асфальтом и не мякнущим зноем. На противоположной стороне длинноногий посетитель оживленно разговаривал с тоненькой девочкой в соломенной шляпке с лентой. "Тоже невеста!" -- подумал Крейслер и повеселел. Славка почти насильно тянул девушку к подъезду гостиницы, она подняла глаза, заметила, что наблюдают, потемнела ("Как она краснеет, однако".) Славка размашисто закивал ему головой, это решило дело, -- она покорно последовала к дверям. В номер вошла совершенно спокойно, с деланной важностью, начала речь с того, что Ростислав Всеволодович (Славка пробормотал: "Эк, загнули для тюркского большинства!") успел рассказать самую суть. Крейслер усмехнулся, она метнула ресницами на обоих укоризненно, подчеркнула:

-- Может быть, и легкомысленно вмешиваться в чужие дела, но мне показалось, что я обязана... Татьяна Александровна доверилась мне как подруге, целую ночь проплакала. Я имела все основания заключить, что решается она не с легким сердцем, а... чтобы не отступить. Она вас по-прежнему любит, Михаил Михайлович.

-- В этом жена вам тоже сама призналась?

Крейслер спросил брюзгливо. Он привык к тайне душевных переживаний. Таня это когда-то тоже ценила, по крайней мере клялась. И вот, вольно или невольно, -- это ничего не меняет, -- сделала поверенными и посредниками между ними двух каких-то юнцов, нельзя сказать, чтобы очень умных и деликатных. Правда, они дышали такой искренностью, таким желанием помочь, что сам Михаил Михайлович все же продолжал беседу. Его даже не покорило, что девушка читала его письма.

-- Я сама мучаюсь в разлуке с любимым человеком, поэтому сочувствую.

Любимый человек блаженно хмурился. Прощался Крейслер приветливо.

-- Мне почти столько же лет, сколько вам обоим вместе. Я удивился и даже рассердился на ваше вмешательство. Человеку в моем возрасте трудно найти в себе столько душевной свежести и сострадания, чтобы пойти устраивать чужие супружеские отношения. Но, верьте, вам я искренне благодарен.

Он собрал пятьдесят рублей золотом по курсу, целый тючок дензнаков, отдал им и, не удержавшись, признался:

-- Второй раз покупаю эти серьги. Первый раз они мне обещали счастье и... что там жаловаться, выполнили обещание.

V

В газетах появились пространные выборки из обвинительного заключения, грозные статьи закона пестрели против набранных жирным шрифтом фамилий обвиняемых. Крейслер со странным чувством держал слеповато напечатанные листы: все, что они гласили, случилось в действительности, но правда эта, изъятая из прошлого, никак не походила на то, что разворачивалось на глазах у Михаила Михайловича в необъятном шуме тех дней. И люди, которым грозила смерть и которых он знал, казались более вымышленными, чем лица немецких сказок, читанных в детстве. И при одном только имени сжалось его сердце и кто-то невидимый толкнул в плечо: Веремеенко поминался во многих абзацах после Муханова, Тер-Погосова и Бухбиндера. Он приготовил мешки с поддельной парижской зеленью, обманул приемочную комиссию, находил "Верморели",

которые потом отбирались у владельцев, писал подложные счета, топил баржу. Крейслер подумал о жене и чуть не заревел от стыда: из-за нее ведь совершены все эти преступления, правда, по ее словам, она даже о них не подозревала. Ее тело снилось Веремеенко, когда он засыпал после попок у Муханова, еще неведомое, но уже воображенное, приближавшееся с каждой наворованной сотней рублей. А вдруг здесь не только игра воображения? Вдруг дело зашло дальше, чем он думает? И в первый раз Михаил Михайлович усомнился в том, прав ли он, отрывая ее от того призрака долга, за которым она последовала, может быть, это и не призрак и она должна разделить наказание.

Вызвали к телефону. Славка сообщил, что Татьяна Александровна решила идти сегодня в шесть часов вечера в частную лечебницу. Крейслер прослушал так, как будто ему рассказывали это в десятый раз. Он был до крайности утомлен и, несмотря на то что день только еще начинался, лег и проспал часов пять. Проспал заседание в Хлопкоме, свидание в Саранчовой организации, визит к Григорьянцу...

Онуфрия Ипатыча перевели в другую тюрьму. Тане пришлось с передачей тащиться в другой конец города. Она принимала все эти неудобства и труды как оплату за неизвестную, но несомненную вину. И кроме того, можно было забыться, не размышлять. Вообще же она старалась думать обиняками, например: "Суд будет через восемь дней, успею ли?"

Ровно в шесть она прошла через сводчатый въезд большого каменного дома в звонкий асфальтовый двор, позвонила у свежевыкрашенной двери, удушающе вонявшей олифой. "Не выйду я отсюда", -- подумала она, стараясь дышать ртом. Но и во рту оставался ядовитый вкус олифной вони. Уколело палец пробившимся сквозь кнопку звонка током. Тане показалось, что она забыла переменить белье, что недостаточно чисто вымылась, что вообще нельзя переступить порог... рванулась с крыльца. Но дверь открылась. Немолодая сиделка в халате, с лицом, как будто многократно виденным раньше, бледная, обесцвеченная больничным воздухом, удивленно высунулась в щель.

Закатный свет мглисто отражался от голубых стен приемной, и звуки, залетавшие со двора в эту неживую полумглу, вызывали дрожь. Концы пальцев саднило жгучим раздражением, мешая повернуть страницу затрепанного журнала. Минуты текли, и каждая из них нагнетала новые приступы дрожи, уже заледенели руки, ступни, и этот анестезирующий холод то вдруг ощущался на бедре, то прилипал к спине, то покрывал гусиной кожей грудь. Особенно трудно было справиться с челюстями. Зубы мертвели и ляскали. Глаза не отрывались от белой двери, и вдруг их резануло нестерпимым отблеском стекол шкафов там, куда бесшумно проваливались белые створки и откуда прошлепала туфлями маленькая тюрчанка в чадре.

Бесцветная сиделка пригласила Таню тихим шипением, обозначавшим: "Пожалуйста". Полуобеспамятев и еле волоча ноги, она вошла. Вероятно, где-то в темных глубинах воображений ей давным-давно представился образ изувера, который убьет ее ребенка. И поэтому, увидав красивого горбоносого смуглого старика с белой бородкой, с огромными руками, которых можно было не стыдиться и в которых таилось больше теплой силы и жизни, чем во всем теле дежурной сиделки, -- она почувствовала себя прощенной. Доктор долго, как будто напоказ, тер щеткой руки и слегка в нос, однозвучно, точно читая книгу, говорил:

-- Аборт -- операция несложная и неопасная. И все-таки я не рекомендую ее делать. Она опустошает душевно, ее доступность губит самый смысл любви. Как часто женщины, становясь бесплодными, проклинают нас, врачей, которые якобы довели их до этого...

Он, должно быть, разглагольствовал перед всеми пациентками, но Таня понимала, что его слова, как молитва, имели для каждой женщины свою долю убедительности, потому что опыт этого человека был несомненен, как и старомодная добросовестность. Но именно эти речи разогнали ледяной страх, который едва не убил ее решимости в приемной. Она ожидала увидеть частного практикующего живодера (уж она ли не знала врачей и их повадок) и слушала наивного честного проповедника. И по мере того как он повышал голос и раздражался, ругая большевиков, как он говорил, "за пропаганду аборта" (вот вы же сознательная женщина, а ко мне заявляются неграмотные бабы, девчонки, изволили видеть, туземки), по мере того как он все чаще смешно и неодобрительно чертыхался, призывая к деторождению, -- она успокаивалась внутренне, крепла. Каждая минута промедления и каждый живой звук несли ей новые силы. Но когда в ужасном, постыдном положении в холодном, как будто мокром, кресле почувствовала его нащупывающие и тоже холодные пальцы и ей показалось, что он вскрывает тело каким-то чудовищным инструментом, безошибочно находящим самые больные, самые чувствительные места, -- тогда вся кровь возмутилась в ней, хлынув к

голове. Белый потолок позеленел, пожелтел и зыбился. Далекий голос доносился словно из-за стены:

-- По всем признакам, вы действительно беременны. Но делать операцию можно будет недельки через две. Постарайтесь к тому времени прийти в лучшем состоянии в смысле нервов. Хорошенько питайтесь.

Встала шатаясь, дрожа, доктор наставлял, как важно беречь нервы, сохранять покой, ей казалось, что все это обращено к умывальнику. "Через две недели, -- пело в Тане, пока она оправлялась. -- Через две недели", -- примешалось к скрипу двери, которая открылась в веселый шумный двор, звеневший ребячьим визгом, стукотней ремесел, бабьими криками.

-- Через две недели только! -- радостно выдохнула она, Не удивившись, что встретила мужа у ворот. И слезы застлали милый мир, в котором высоко сияли знакомые рыжеватые космы.

Он же истолковал ее радостный вид по-своему. "Наверное, сказали, что ошиблись. Вот и обалдела". Вчера он дал деньги, чтобы посторонние обстоятельства не связывали ее волю, и лениво удивлялся своему благородству. Но пришлось часа полтора дожидаться жены у вывески "Женская лечебница", от легковесных вчерашних мыслей осталась лишь труха: он скрипел зубами, воображая, что, может быть, сейчас выскабливают его ребенка и рвут последние его связи с женой. Она появилась перед ним, как показалось, веселая и вновь недостижимая, неуловимая. Он скучливо выдал лживый вопрос, зачем она заходила в лечебницу, не больна ли?

-- Нет, я здорова, здорова, -- словно прокатилось в ней, как теплая гроза. -- Здорова.

-- Ты как будто подчеркиваешь, что, живя со мной, постоянно хворала, и это правда, ничего не возразишь...

Она не слышала, не отозвалась.

С чего начать разговор? В мозгу тяжело переворачивались жалобные мысли, их невозможно выложить перед молодой, хвастающейся здоровьем и бодростью женщиной в летний вечер. На тротуарах теснилась толпа. Толклись нежные парочки, томный полумрак густел над городом, одуренным любовью. Крейслер привык к глухим ночам в Степи, когда так легко беседуется, и никто не подслушает, и слову человеческому цены нет, и он взял бы да закричал: "Таня, что ты со мной делаешь?"

-- Ты читала сегодня газеты?

Она кивнула головой, словно прислушиваясь к непрерывному шипению и шарканью шагов. Вот и поворот. Михаил Михайлович издали заметил Симочку, мнущуюся на углу. Ему показалось непереносным разыгрывать сцену первого знакомства, и он почти обрадовался, когда Таня подала руку.

-- Спасибо, что проводил, меня вон ждут...

На другой день Михаил Михайлович уехал на завод до суда.

## Глава одиннадцатая

I

Первое заседание суда было назначено на четверг, под мусульманский день отдыха, в шесть часов вечера, в наиболее поместительном зале бывшего купеческого собрания, теперь центрального рабочего клуба. Уже с пяти часов вечера милиция запретила въезд на улицу Коммуны. Озабоченные судейские насилу протискивались сквозь толпу, всегда с удовольствием причиняющую начальству маленькие неприятности. Таня с пропуском, который достал Андрей Ильич, полезла за каким-то старичком, коротконогим и тучноватым, в выцветшем осеннем пальто, -- по такой-то жаре! Милиционер все пытался подхватить его под руку. Следуя за сгорбленной спиной в рыжем драпе, Таня ума не могла приложить, зачем влекут эту развалину в суд.

-- Ну, скоро начнется, -- возвестил какой-то худой черноволосый гражданин, -- председатель ковыляет. Строгий старичок.

Таня села в передних скамьях, не оглядываясь на публику. Любопытство толпы, шумное и постыдное, смущало ее, как соучастие. Огромная эстрада пусто темнела, но Славка уже возился с проводами юпитеров. Бродин устанавливал треножник вездесущего аппарата. Таня подумала: встретиться она взглядом с его

женой, -- минуты не осталась бы в зале.

Рядом суетился маленький, плохо выбритый человечек, похожий почему-то на грушу, набрасывал в записную книжку план эстрады.

-- Пригодится на мизансцены, знаете, в пьеске с пролетарским судом, -- обязательно сообщил он, помахивая крохотной ручкой.

Зал гудел за спиной, как дальняя улица. Люстры дрожали, словно голоса.

Эстрада оживлялась. У заднего входа расположились привилегированные зрители из служащих суда. Бродин подталкивал фотографов. Вышел прокурор -- невысокого роста, присадистый, в коротко остриженной седине, с особо плотной красноватой кожей на лице, словно для того чтобы скрывать движения мускулов. Небольшие безжалостные глаза отливали зеленью. У него и фамилия звучала непреклонно, жестко: Крутов. Он все это сознавал, -- было видно по тому, как выступал он, слегка вобрав плечи, точно готовясь прыгнуть, смять кого-то. Общественный обвинитель старик Грацианский, высохший, легкий, шел за ним, как тень, озабоченно щурился и делал вид, что он строже всех. Адвокаты высыпали кучкой во главе с московской знаменитостью, защитником Мухановых, Белиным, и местной звездой первой величины Радзиевским. Москвич нес себя с изнеженным достоинством, ему нравилось в себе все: и выхолощенное лицо, и кремовый пушок бонвивана, тщательно приглаженный на лысине, и даже то, что правое плечо слегка подергивалось и казалось выше и длиннее левого. Радзиевский с трудом подымал сонные параличные веки, закидывал голову так, что все время открывались низ подбородка и шея; обильные перхотью пряди волос спадали на широкую горбатую спину. Рябое лицо Братцева взмокло, словно залитое слезами, его обуженное вытянутое тело колебалось при каждом шаге.

Бравый юноша в непомерно длинном, но ладном френче из осетинского сукна, опасливо прижимая к бедру маузер, словно это было одичавшее животное, крикнул что-то в массивный говор зала, добился краткой тишины. Гремя, как зверь в цепях, зал встал. Шипящим нестерпимым светом забили юпитеры, заливая фиолетовым мертвенным блеском. Знакомое страшное постукивание киноаппарата напомнило Тане гибель Маракушева. Серый от странного освещения, одутловатый старичок вырвался из-за частокола киноаппаратуры, связанного лианами электропроводов, пробежал к столу, прижимая к животу портфель. Двое заседателей, еще неразличимые, проследовали за ним. Мелкочертая миловидная дама разложила кипу бумаг на красном сукне стола. Фиолетовое пламя погасло, шипя, роняя желтые искры. Постукивание остановилось. Слабый распыленный свет снова посыпался с безжизненных гроздей люстр. Зал загремел, садясь. Тане почудилось, что этот грохот опрокидывает ее на стул и что мистерия возмездия разыгрывается быстро и смертоносно, в этой торжественности. Председатель что-то приказал, беспомощный голосок не достигал и первых рядов. Славка рванулся к проводам. И не успевшие остынуть угли снова брызнули слепящим ливнем. Подсудимые шли, тесно сбившись, морщась, отводя лица от фотообъективов, от потоков разоблачающего света. Звякая винтовками, глядя прямо перед собой, топотали конвойные. Юпитеры погасли, и опять на эстраду хлынул из зала разреженный ненастный жалкий свет лампочек накаливания. Мертвую тишину шевелил слабый, как шелест, скрип передвигаемых стульев. Таня не отводила глаз от людей, возившихся за ограждением штыков, вбирала в память на всю жизнь их робкую суету, так непохожую на спокойное ротозейство толпы, наполнявшей зал. Тер-Погосов сел впереди и ближе к публике, как будто готовился именно от нее принять все удары. Истрепанная кожаная куртка, посеревшая, вытершаяся, потерявшая от времени покроя, едва держалась на плечах, как сброшенная кожа ужа. Красноармейские бумажные шаровары были заправлены в ветхие обмотки. Зато ботинки, огромные толстокожие топы, из трофейных английских, без сносу, подбитые железными подковами, можно было бы почесть обувью для вечности. Ноги, в них обутые, не хотели умирать. Он зарос бородой до глаз, белая прядь свисала среди черных над правой бровью. С тех пор как впервые услышала его имя, Таня привыкла ненавидеть и бояться Тер-Погосова. Но эта белая прядь словно хлестнула по ресницам и, как соринка в глазу, так и осталась. И в слезах плавал кусок огромного жестокого мира, и в этом туманном наплыве появился какой-то серый лоскут, он резко вырос и упал: это Веремеенко в отчаянии, что она его не видит, что постоянная преграда к удаче, Тер-Погосов заслоняет его, вскочил, обескровленный волнением, и поклонился Тане. Сердце зашумело у него, и мгновенно высветило глаза. "Милый, добрый", -- прошептала она. Он, должно быть, прочитал по губам, упал на стул как пришибленный.

-- Это ваш муж? Я попал на места для родственников. Какая оплошность, -- бормотал сосед с крохотными ручками.

-- Нет, нет, -- бессвязно успокаивала его Таня. -- Я впервые слышу о таких местах.

Брезгливость перед этой трусостью показалась ей легким чувством в сравнении с тем, что она только что испытала. Сосед спрашивал фамилии. Таня отвечала. Он записывал в книжечку. Она отогнала мысль, что делает что-то дурное, отягчающее без того несладкую участь этих людей. Назвала Бухбиндера, положившего на стул забинтованную толстую ногу, в которую как будто стек жир со всего его когда-то пухлого, теперь опавшего тела. Назвала Муханова, сгорбившегося так, словно у него перешибли хребет. Назвала по догадке жену его, даму с презрительно спокойным лицом. Назвала Вильского, растрепанного, дрожащего, словно на него била струя ледяного сквозняка. В свою очередь спросила, как зовут белокурого великана, который обиженно тербил вислую узкую бороду, совал в рот и длительно жевал.

-- Вы не знаете бывшего товарища Величко? Самый высокий и глупый человек во всем городе. Раньше о нем шепотом говорили, теперь во всеуслышанье... А вон тот, морщинистый, должно быть, капитан. С ним рядом матрос с разбойничьей рожой, боцман, что потопил баржу. А сзади всех забился Гуриевский. Кто же его не знает, -- покровитель искусств, меценат -- первый по щедрости после Тер-Погосова. Вот кто объяснит, что этот хапуга, Тер-Погосов, почти содержал на свой счет небольшую театральную студию и ни за кем там не ухаживал, так любит искусство, -- поверьте мне, уж я знаю эти дела... Гуриевский, тот из подражания и за балеринками бегал...

На него зашикали. На эстраде разгорелся спор. Там словно пробовали голоса и щупали слова. Братцев почти плакал, требуя, чтобы ему дали возможность ознакомиться со сводками результатов противосаранчовой борьбы. Белин, склоняя голову набок с таким видом, что ему невогнута оставаться в этом зале, присоединился от имени всей защиты к просьбе коллегии. Волосатый Радзиевский вскидывал голову, соря перхотью на воротник, выпевал каждое слово, убеждая суд вызвать Эфендиева, могущего осветить картину борьбы в его районе. Двое других защитников, один гологоловый, как осенний одуванчик, другой -- похожий на пожилого купидона, с наводящим тоску тусклым и гнусавым голосом и пунктуально точными выражениями, просили освободить от присутствия на суде их подзащитных Гуриевского и Бухбиндера. Тут бросился прокурор и, не возражая против первого ходатайства, отрицал необходимость вызывать занятого местного работника, тем более что другие свидетели дадут ясную картину. Для больных он требовал медицинского освидетельствования. Лицо у него играло оживлением, -- видно, любил состязания. Судьи, посоветовавшись, удовлетворили ходатайства защиты. Все успокоились. Поднялась мелкочертая дама и ровно, звонко и неумолимо начала читать обвинительное заключение. Таня боролась с тошнотой. Появившись как всегда внезапно, она не проходила, наоборот, казалось, все нагнетало ее: и духота, сгушавшаяся с каждой четвертью часа, и вой вентиляторов, мешавший слушать обстоятельный бесконечный текст. С потоками пота сползало напряжение и официальность с судей, защиты и подсудимых. Все различия черт сглаживала спокойная, почти благообразная скука, неизменно лежавшая на конвое и распространявшаяся как зараза. Вероятно, чтение рассчитано успокаивать. И если бы не тошнота, Таня слушала бы внимательно, не думала бы о своем, непреходящем, о том, что несут, что предвещают ее внутренние ощущения, какие муки и тяготы. Вспомнила стекла больничных шкафов с инструментами и задохлась, как будто их холод тяжело обрушился ей на грудь. Чтение закончилось лишь поздно вечером, заседание назначили на другой день.

II

Она пришла к зданию суда в тот час, когда в воздухе пахло еще сыростью ночи, нерастворившимися тенями. Пожилой швейцар в кителе купеческого клуба, ворча, трудился над урнами и половиками. А на ступеньках уютно устроилась Марья Ивановна, радуясь прохладе и синему небу.

-- О ребятах скорблю, Татьяна Александровна, распустятся все, голота. Некому наказать, на ум наставить. И вам дома не сидится... Михаил-то Михайлович -- слышали? -- прислал суду телеграмму, придет в понедельник, просит его показания отложить...

-- А вы откуда знаете? -- с досадой спросила Таня.

-- Сорока на хвосте принесла, -- издевкой ответила толстуха и перекинулась на другое: -- На утреннее-то заседание народу, надо думать, не набьется, как вчера, хоть и праздник. Духотищи не будет такой. Вы чего же на отлете сидите, садитесь к нам, к родственникам. Мы места захватили чудные, рядом с подсудимой скамьей. Прямо хоть шепчись. Я со всеми родными познакомилась. Многие симпатичные. У Григория Романовича брат на него страшно похож, такой же густопсовый, но только молчаливый, просто бука. А вот жена Гуриевского, -- сразу видно, дочь миллионера. Полная, шикарная дама, может, заметили?

Она задавала вопросы, не нуждаясь в ответах, низала слова как дешевый бисер, сама любовалась своей работой.

-- Мой-то прямо напустил со страху. Я ему записочку послала тайком: не позорься, мол, поляк гоноровый, не дрожи. Ну, пятнадцать лет с ним проживши, знаю я, какие они гоноровые. И Анатолий Борисович раскис. Как у нас на заводе гоголем разгуливал, -- фу-ты ну-ты. Жена у него, видать, бой, молодец. За мужа не трепещется, все разные позы перед публикой принимает. Бездушная кокетка. Но наш-то, Онуфрий Ипатыч, не шелохнется, как будто один в своей комнате, не покривится... А уж я ли его не знаю... Он чувствительный, но все про себя. Как задумается, уж ничего не слышит. Такого блаженного если увлечь в преступление, не оглянется.

Тане захотелось подняться, уйти. Марья Ивановна взглядывала на нее бегло исподлобья, сверкнет и потухнет, и только на щеке, как от крапивы, легкое жжение. Марья Ивановна важничала и язвила:

-- У него и чувств немного. Но как уж одно пронзит, так он другого ничего не видит, не чувствует. Его, как во сне птицу, руками можно взять. И вот за это гибнет человек... Как подумаю, что им всем грозит, -- поверите или нет, Татьяна Александровна, -- холодею вся, сердце останавливается.

-- Я стараюсь не думать о конце...

Это было верно. Тане стоило больших усилий вытеснить непрощенные мысли. Они врывались в сон, в ту хрупкую минуту, когда он только что наплывает на сознание. Они, как кусок льда, падали на размякшее тело, исторгая стон, и вырывали из липких объятий чего-то еще более страшного, может быть, надвигающегося кошмарного сновидения. Днем эти страхи и мысли глушишь болтовней, движением, а по ночам они хозяевами вступают в стеклянно холодную бодрость после прерванной дремоты. Пытаешься понять их бесформенные угрозы, а понять их нельзя: сам разум охраняет тебя. И Таня бессонничала с больной головой, притягивая неясную и неутешительную надежду, что оплачивает какой-то долг этими мучениями.

-- То-то, не думаете! -- Марья Ивановна жестковато усмехнулась. -- А следовало бы подумать. Люди-то не чужие...

Таня не заметила намека.

-- Хоть бы казнь какую-нибудь принять, не быть в неоплатном обязательстве. Заболеть, что ли... У меня с детства так... Когда кто-нибудь терпел несчастье, наказание, а мне думалось, что это из-за меня, -- хотелось захворать, испытать боль, руку сломать или ногу... Потом я окрепла и тяжелые времена переносила бодро. А теперь иногда, как в детстве, такая слабость охватит, руки-ноги не слушаются.

Марья Ивановна кривила губы.

-- На что она, ваша рука-то! Мужчине все тело нужно. За наше тело он жизнь отдаст. (Таня отрицательно покачала головой, прошептала: "Как это вы все в одну сторону...") -- Та покрикивала -- А вы, конечно, все ручкой маните. -- Как бы испугавшись, быстро поднялась. -- Ах ты... Вон и "черный ворон" везет наших несчастных.

Тюремный автомобиль, похожий на вагон темно-оливкового, почти черного цвета, жирно отражая солнце, свернул на улицу Коммуны. В узких решетчатых оконцах под крышей мелькнули переносицы и глаза. Таня залилась стыдом. Марья Ивановна побежала к воротам.

В темноватом, с невыветрившимися запахами вчерашней толпы зале гулко отзывалось каждое слово и каждый шаг. Подробности увеселительного заведения, -- люстры, кронштейны, завитушки колонн, блеск паркета, -- никак не вязались с представлениями утреннего судилища. То, что вчера не замечалось в сверкании нарочитой торжественности, с утра стало отвратительным. Все готовилось походить на

репетицию спектакля.

Неразборчивое урчание затихло где-то под потолком, у хоров, откуда возвращалось густым отзвуком, мешавшим слушать речи. Опять произошло прение между защитой и прокурором о порядке допроса подсудимых и свидетелей. Опять судьи удалялись совещаться, и потом старичок сердито сообщил, что допрос начнется с подсудимого Веремиенко.

-- Признаете ли вы себя виновным?

Онуфрий Ипатыч встал, уронил голову, еле слышно ответил:

-- Признаю полностью.

Таня глядела на него и не узнавала. Он пошатывался, сквозь мятую парусину жалко проступали углы худого нескладного тела, -- это, в сущности, была копия живого человека, -- и еще раз Таня содрогнулась в стыде... Он начал показание, длинный, заранее обдуманый рассказ, заученный, верно, наизусть, лившийся ровно, без запинки. Много сил ушло на эту непоколебимость тона. Все порывались ближе к говорившему: судьи, стенографистка, журналисты в шершавых прическах (среди них суетился человечек с крохотными ручками), защита, обвинение. Крутов отогнул ухо, и выражение жесткой внимательности, как будто он во что-то всматривался, стянуло все выпуклости его лица. Убедившись, что допрашиваемого не собьешь, -- он уж выскажется до конца, -- один из заседателей попросил говорить громче. Веремиенко поднял удивленный отсутствующий взгляд, голос усилился. Он повествовал безразлично, как будто речь шла о постороннем человеке, и этот малоинтересный посторонний человек, по нужде в деньгах, пожелал так или иначе подработать. Саранчовая организация искала опрыскиватели. И он решил, что получит вознаграждение, если укажет, где и у кого в округе находятся аппараты.

-- Скажите, подсудимый, а не было ли у вас предварительного разговора с гражданином Бухбиндером об этих опрыскивателях после того, как обвиняемый Тер-Погосов явился на ваш хлопкоочистительный завод и отобрал аппараты "Вермореля", якобы для надобностей коммунального хозяйства?

Допрос начался. Бесконечные придаточные язвили слух. Тер-Погосов вскочил, выбежал вперед, положил руку на спинку стула защитника, на мгновение застыл. Но шагов его, тяжких и грубых на вид, не было слышно. Он так же бесшумно, на цыпочках, удалился, ступая укрощенными подметками, от судейского стола, достал грязный платок, торчавший из кармана куртки, утерся. Бухбиндер запрокинул голову. Прокурор бегло взглянул на них.

-- Да, был. Я предложил познакомить меня с теми лицами, через которых можно было бы представлять опрыскиватели.

-- Погодите. Вы говорите слишком отвлеченно. Ответьте мне на два вопроса. Во-первых, не говорили ли вы, что деньги вам нужны потому, что вы любите одну женщину, которая очень нуждается?

Второго вопроса Таня не слыхала, его заглушило шумом метнувшейся в голове крови. И так, он разговаривал о ней с Бухбиндером. Да, да, он подтверждает.

-- Суду безразлично имя этой дамы, -- слышит Таня (прокурор как-то особенно произнес слово "дама", вкладывая свой смысл) и чувствует на щеках жгучий взгляд всего зала. -- Но нам важно установить, что такой разговор действительно был. И не вы предложили услуги, а, как сам Бухбиндер показывает, он навел вас на эту мысль.

-- Суду важно, -- добавил председатель, -- установить правильную меру вашей вины и вины других.

Веремиенко кивнул головой, как будто соглашаясь, что на самом деле важно, и продолжал рассказывать, как сообщил про аппараты "Платца" в конторе Траянова, как поехал с запиской Бухбиндера к Тер-Погосову, который познакомил его с Мухановым, а затем с Величко и Гуриевским. И тем же деревянным голосом, однообразно помахивая правой рукой, передавал описание обстановки, в которой очутился, когда трудно было различить, что является незаконием, совершаемым для пользы дела, а что -- прямым преступлением. Он рассказал про мастерскую Гуриевского, где работали в три смены и так спешили, что проба и проверка сжигателей на давление была отменена. В Саранчовой же организации дело приемки поставлено было так, что проходили все аппараты. Он, видимо, не собирался скрывать ничего, не щадить ни себя, ни других, давал, словом, откровенные показания. Тер-Погосов ходил вокруг него, не сводя глаз, Муханов вздрагивал

всякий раз, когда слышал из его уст свое имя, Бухбиндер в таких случаях весь всплескивался, закатывал глаза, и один лишь Величко позевывал безмятежно, как будто скучал на обыкновеннейшем заседании.

-- Пошли, выпили. Вообще без выпивок, а иногда и кутежей, даже довольно часто, никто бы из нас не выдержал ни этой работы, ни своей совести.

-- Насчет совести после. Где бывали кутежи?

-- Везде. В ресторанах, но чаще у Муханова.

-- Если с женщинами, то в ресторанах?

-- Да. Иногда даже в конторе мастерской.

-- Мы знаем, что вы и контору мастерской превратили в притон.

-- Да.

Он произносил это вяло. Во всей его фигуре появилось что-то, напоминавшее повадки малоспособного ученика, отвечающего урок, который кое-как удалось вы зубрить. Но Таня уже давно нашла свой ключ к показаниям Онуфрия Ипатыча: этот ключ было чувство, что она сама сидит на скамье подсудимых, и каждое его слово выдает ее, обнажает самые сокровенные мерзкие помыслы, топит в грязи. Его откровенность была оскорбительна. Он рассказывал, как по требованию подсудимой Мухановой бросился в воду за шарфом и как Тер-Погосов сказал, что умение хорошо плавать может пригодиться. Он излагал все подробности с утомительной точностью, как будто опасался, что иначе не поверят. Прошло много времени, в зале кашляли, выходили, он не переставал, не слабел, не унимался. Ровная речь стала казаться неотъемлемым признаком этой жары, духоты, полумрака. Он напустил целый рой слов, и теперь никто не был властен ни заглушить, ни укротить их. Они вились во всех закоулках зала, как столбы пыли, проникали всюду, оставляя в мозгу странную сухость. Таню они раздражали осязательно-телесно: казалось, набившись в череп, они рвутся обратно наружу где-то около надбровных дуг. Веремиенко все говорил. Описал обстоятельства погрузки, отплытия, дележа денег, борьбы с Тер-Погосовым, потопления баржи. Петряков встал и плюнул в его сторону:

-- Подсучиваешься, гад ползучий!

Председатель неистово зазвонил в колокольчик. Чистый резкий звук освежил воздух. Таня вырвалась из душного оцепенения. Она уже слышала однажды этот рассказ. И теперь только дивилась, как могла наклониться поцеловать руку, все это совершавшую. Бледный обстоятельный перечень событий не походил на взволнованное кипение чувств, картин, которое склонило ее в ту ночь. И, кроме того, во всем, что она теперь слышала, всюду сопровождали деяния этих людей водка, женщины: Муханова, какие-то машинистки, безработные, которых никто полным именем не мог назвать. И она, Татьяна Крейслер, является негласной соучастницей распутства. Ее имя и образ таскали по кабакам, по девочкам. Посмотрела на Муханову, та брезгливо улыбалась и вдруг показалась автоматом, куклой, предназначенной для самых грязных забав. "Их отношения были нечисты", -- сказала Таня про себя. И эта книжная фраза как бы приоткрыла щель в чужую квартиру, где шло пьяное веселье. А Веремиенко все говорил. Раскрывал какие-то комбинации с подложными счетами, которые подписывал по поручению Тер-Погосова, сообщал, как покупал на базаре мешки (и опять написал счет вдвое больше, чем заплатил), как наполнял их песком во дворе пустого склада и вез под видом ядов на баржу. Не стыдился.

Таня внутренним слухом слышала, как за гнусными признаниями звенит его молитвенная надежда: "Все во имя твое, и ты простишь!" Быть может, он бахвалился перед публикой с отчаяния, -- чтобы знали, что он сделал для любимой. Таня едва удержалась крикнуть: "Замолчи". А он исповедовался в том, как пустили на некоторые части сжигательных аппаратов вместо меди -- жезл и олово. "Ты же знал, что будут взрывы, будут гореть живые люди". Эта мысль ударила ее, как корча. Знакомая слабость разлилась по жилам. У слабости оказался вкус: вкус меди. Таня прижала платок к губам и пошла, толкая стулья. Вслед зашкакали. В коридоре села изможденная, -- нечто подобное бывало после малярийных припадков. Вспомнила, что в ее положении доктора рекомендуют не волноваться. В коридоре толпились все те же праздные любопытствующие люди. До перерыва в зал не пускали. Тане они внушали омерзение. Молодой человек в коричневой гимнастерке оживленно передавал впечатления:

-- Этот хитрый хохол прав. Он гробит всех, но выплывает сам. Во всяком, даже самом сплоченном

предприятию, являются такие предатели. От них нужно беречься.

Это, надо думать, воры и расхитители казенного добра учились отвечать, когда попадутся. Скрюченная старушонка в черной накидке и кремовой косынке жалась к портьеру, ждала разрешения войти.

-- Да у тебя, бабушка, родственник, что ли, судится здесь? -- спросил красноармеец.

-- Нет, батюшка, какие родственники! Послушать интересно. Я во всех старых судах бывала и в новый хожу. Новый-то еще интереснее, -- построже.

-- Ну, а коли из любопытства, так ждите перерыва, -- сказала Таня неожиданно для себя, даже голоса своего испугалась.

За портьерами загрохотало, зарычало, как будто в самом деле завозился раздраженный зверь, -- и хлынула публика.

К Тане подошла Марья Ивановна, села рядом, жадно прикрыв стул, словно простояла весь день. Лицо у нее было расстроенное, мокрое от слез.

-- Что же он с собою делает, наш Онуфрий Ипатыч? Так на каждый вопрос и режет, как на исповеди: "Виноват да грешен". Прокурор и то его остановил: "Нам, -- говорит, -- не надо, чтобы вы себя одного оговаривали да чужие преступления брали. Нам правда нужна, и только тогда за сознание мы даем снисхождение". А он отвечает: "Я снисхождения не ищу". И дерзок, и жалко его. И вам, видно, стало невтерпеж. Сердце от сочувствия разрывается. Горюшко нам.

Таня внимательно пригляделась к толстухе: давно ли она издевалась над собственным мужем. Никто от нее доброго слова не слышал. Даже детей она секла со сладострастием. А тут она насилу справлялась с дрожащим голосом. Таня испытала удовольствие возразить резкостью:

-- Мне стало трудно слушать, когда он заговорил об этой грязи, о кутежах, о женщинах, что же это он особенно говорил о женщинах. Из его рассказа ничего такого заметить нельзя. А если что и случилось в пьяном виде, так вы-то и простить должны. Из-за кого он хлебнул экого горя? -- Она выкладывала, не таясь, гремела, даже ухарски оглядывала мимо идущих, прислушивавшихся к ней. -- Ревновать-то не к чему, не со счастья-любви он кидался на посторонних женщин. Знаю ведь я. И то могу сказать, -- когда он ушел от меня, я ни одной слезинки ему в упрек не уронила. А уж если зимой-то придет, бывало, от вас, утешения попросит, я морду не ворочу. Нечего гордиться перед чужой бедой.

Таня вдруг почувствовала себя сухой и легкой, как вихревая песчаная заверть, ей захотелось бесследно исчезнуть. Она поднялась. Марья Ивановна крикнула вслед:

-- Изломались вы очень! Узлом желаете завязаться в горячестве своем и ревности.

Таня не обиделась, оглянулась с улыбкой. Она покинула суд с таким непривычным спокойствием и тишиной во всем существе, точно оглохла среди грозы. И все, что попадало в поле зрения, сделалось таким маленьким, словно эти дома, тротуары, деревья, окна виднелись откуда-то издали и сверху. И по росту ее нет ни одной вещи в измельчавшем городе. Это странное уединение не пугало, разве только наводило грусть. И не ради же бесцветного от жары неба, тусклого скопления людей, не могущих устроить свое существование более или менее сносно, долго страдать. И она безразлично осклабилась писклявой Симочке, которая выбивала в палисаднике ковры и прокричала из-за облака пахучей пыли:

-- Что-то вы рано? Или сегодня раньше кончилось ради мусульманского праздника?

Таня помедлила, поискала слово, каким надо ответить, и не ответила. Девушка заметила странное остолбенение жилицы, подбежала, смешно, по-детски вскидывая тонкие руки. Во всей ее наружности сверкала такая свежесть, наивность...

-- Давно ли и я была спокойна и чиста, -- сказала Таня. -- Слепо, а потому и глупо, верила, что все могу принять, все искупить, принеся в жертву свою незапятнанность. Ан нет... Преступление, уголовщина связаны, непременно связаны с таким количеством мелких подлостей, отвратительных падений, что принять это можно, только действительно фактически соучаствуя. А ведь я ничего не знала, кроме гордости своей, и знать не хотела. Жизнь мстит за это.

У Симочки сбились во рту целые комья сочувственных восклицаний, но не успели слететь с губ, собеседница медленно по вернулась и взошла на крыльцо.

### III

Весь этот день и весь следующий она просидела в своей комнате, никуда не выходя. И впервые после приезда из Карасуни почувствовала, что нечего делать. Да, нечего. "Впору ставить третью постель в спальне у Блажко". Газеты с обычным опозданием скучно повторяли действительность. И Таня еще раз, но уже отраженно, пережила боль душевных ран, как будто их снова раскрыли и разворочали.

Вспомнила, что с самого приезда не могла собраться и сходить в здравотдел, где работал курчавый Григорьянц, -- через него она надеялась достать место сестры милосердия в красноармейском госпитале. Но при мысли о разговорах, расспросах невероятная сонливость, как бы от опия, наплывала на нее. Вообще эти дни она спала много, проснувшись, не могла расклеить ресницы и закрыть из-за судорожной зевоты рот. Кожа омертвела, как будто обтянутая тонким засохшим слоем липкой мази. Тошнота редко мучила, но когда приступала, -- хотелось умереть. Таня не могла не сравнивать эти тягостные ощущения с той телесной радостью, которую испытывала от тех же, в сущности, неприятных и назойливых признаков беременности, когда носила Мариночку. "Вероятно, из таких же мелких и неизбежных недугов состоит старость", -- думала Таня. Примерила эти извинения к сестрам Блажко, но добрее к ним не сделалась.

Симочка нарочно устроила свидание со Славкой.

-- На все только слышишь: да, нет. Что с ней?

Славке было внове покровительствовать взрослой женщине. Попросил через невесту разрешения зайти, просидел долго, рассказывал, как помирился с Бродиным. Таня улыбалась (она охотно рассмеялась бы, -- было бы над чем). Славка похихикивал, из кухни слышались поддерживающие хохотки Симочки. Невинный сговор открылся сразу. Таня позевывала, Славка переносил и это унижение. Кисло осведомил о событиях на суде: с Мухановым приключилась истерика, кроме того, прокурор потребовал удалить Тер-Погосова на время допроса Муханова. Слабохарактерный энтомолог после каждого вопроса просит отсрочки на ответ, в перерыве они совещаются. И после перерывов допрашиваемый отвечает твердо, но выясняется, что он пьян. Оказалось, лимонадная бутылка, из которой пил сам Тер-Погосов и поил Анатолия Борисовича, пахнет спиртом.

-- Вас это занимает... Я и завтра буду в суде, -- сообщил Славка.

Таня попросила найти Марью Ивановну и через нее направить очередную передачу Онуфрию Ипатычу. Пошли в дежурный магазин. Улицы сияли, как умытые дождем, Славка вяло развивал мысль об удобствах ночных магазинов и хвалил новую экономическую политику. В магазине ему стало неловко за ее убогий небрежный костюм. Холщовая юбчонка и брезентовые туфли на босу ногу, непокрытая голова, -- кто из расфранченной толпы новых богачей и их самок станет доискиваться трагической сущности в этой простоватой женщине, равной по душевным качествам Настасье Филипповне. Славка в то время читал Достоевского. Но ведь великий писатель не предусмотрел презрительных усмешек при виде нищенски одетой покупательницы, требующей икры, шоколаду, дорогих консервов. Она вынула знакомую пачку дензнаков. Славка сам получал их за талисман. Но кассирша могла думать о происхождении этих денег что угодно. Также и его положение сопровождающего казалось ему двусмысленным. Он не чаял выбраться на улицу.

На следующее утро Симочка передала Тане записку, Веремеенко спрашивал:

"Что с вами, милая, родная? Не заболели ли вы? Вот горе-то? Да, конечно, вы больны, иначе как же так вас нет? Я не вижу вас, вот мука. Я высказал свою душу и теперь спокойно жду, будь что будет. Не обращаю внимания на грязные упреки, даже угрозы моих бывших якобы товарищей. Тер-Погосов натравливает на меня Петрякова и опять Гуриевского взял в руки. Сила у человека, она и довела его до стены. Сердце мое навсегда с вами, бьется вами и для вас. Никто не может отнять это от меня. Благодарю судьбу, что она заставила страдать за вас. Все во имя твое".

Ему что-то понравилось повторять это. Он не замечал всей тяжести упреков, содержащихся в его хвалах,

и намеков на коварство. Его укоризны продиктовала требовательность.

Вечером Славка пришел за ответом. (Таня написала, что действительно чувствует себя плохо, должно быть, малярия вернулась.) Янтарные глаза его подернуло оранжевым, на переносице рябился пот. Не успев поздороваться, он выпалил:

-- Угадайте, кого я видел? Обалдеть! Михаила Михайловича! Он уже сидит в свидетельской комнате, но затянулся допрос Бухбиндера, который всем животики надорвал: испугался, акцент, -- раньше вторника Михаила Михайловича не вызовут.

-- Вот как?.. -- еле слышно отозвалась она.

У ней едва повернулся язык произнести и эти два слога. Где-то в самой потаенной глубине существа теплилась мысль, надежда, что муж услышит, почувствует веяние внутренней примиренности, овладевшей ею. Да, она сломлена, ее гордость унижена, она осталась задыхаться в сером облаке праха, поднятом обвалом чувств к Онуфрию Ипатычу. Но ведь ей удалось избежать того, что не может простить ни один мужчина своей близкой.

Однако муж должен был, приехав, зайти, он приехал и не зашел.

От этих сомнений все в ней смерзлось.

Холодом повеяло на Славку. Он ушел, волоча ноги, мстительно прошипев у дверей кухни:

-- Ну, нет, возись с ней сама. Я не могу.

И ринулся с грохотом по коридору: на него высунулась изумленная Римма Ильинична. Она погрозила ему кулаком в окно.

Во вторник Таня проснулась с непонятной и почти радостной тревогой, с позывом двигаться, работать.

-- Нет, это так оставить нельзя, -- твердила она про себя, ничего, в сущности, под этим не подразумевая.

Заботы жизни, словно прорвавшись, бросились на нее: прачка, керосин для примуса, счет за электричество, ботинки к сапожнику, -- существование ее и вещей вокруг начинается сначала. "Нет, так оставить нельзя", -- пряди прямые, тусклые, как крысиные хвосты. "Надо завиваться, Танька!" -- пробормотала она зеркалу, и тут же пронеслась мысль, что на улицах продают виноград и что волосы у товарища Григорьянца курчавятся мелко: круглые завитки и цвет их напоминают гроздь винограда-малаги. Почти побежала в здравотдел. Григорьянец, как всегда общительный и скользкий, помычал что-то обещающее, -- ей и того стало довольно. Улицы сами проскользнули под ногами: она увидела себя перед входом в суд. Как бы из давнего забвения выступали вестибюль, коридоры, портьеры, словно все это видела она в далеком детстве, и тогда помещение представлялось неизмеримо громадным, хмурым, вечным, как те большие люди, из которых состоят добрые папы и мамы и страшные чужие дяди и тети. Теперь величие разоблачено. Оно преходяще и временно, как все несчастья. Беззубо улыбался швейцар, тетешкая у пустых вешалок пузырявшегося веселой слюной внука. Видно, и клубные служители свыклись с пребыванием здесь суда: на лестницу и выше проник пеленочный дух, все -- настезь. В полупустом зале толклись голоса, искаженные резонансом. Таня опять под шиканье прошла вперед, и -- сердце захолонуло.

## Глава двенадцатая

I

Михаила Михайловича допрашивали, должно быть, давно. Прокурор отирал пот, комкал и бросал под стол бумажки. Старик Грацианский выбегал вперед, словно обнюхивая свидетеля, отступал к столу и налетал снова, словно хотел сбить Крейсера с ног. Тонкие длиннопалые руки, все время наготове, как бы пригвождали. Придирчивые слова, слетая с язвительных губ, путались в бороде, получались шепелявыми и потому еще более грозными. Кругов что-то записывал, изредка взглядывая на допрашиваемого. Михаил Михайлович устал, отвечал тихо, часто сбиваясь. Жена впервые заметила, -- он не всегда думает по-русски, волнение навело на древнее влечение к немецким фразам и оборотам. Он непрестанно теребил ворот взмокшей синей рубахи, то расстегивал, то застегивал верхние пуговицы. Новый жест был так же жалок, как

и весь этот большой костистый человек, и в иное время Таня стыдилась бы его слабости. Он покраснел, потоки пота струились к подбородку. Глаза бегали. Именно беспомощных глаз больше всего испугалась жена: значит, сбился, и его легко поймать на слове. Тер-Погосов стоял, очевидно ожидая вопроса. Остальные подсудимые сгрудились за ним, как за вожаком.

-- Подсудимый Тер-Погосов сознается, что он ожидал сопротивления, и самое незначительное препятствие сбило бы его уверенность. Итак, почему же вы, получив показавшееся незаконным распоряжение, все же отдали аппараты "Вермореля", которые были так нужны для предстоящей борьбы?

То же самое спрашивала когда-то Таня, и вот как обертывается ее вопрос! Зубы блеснули среди черной бороды Тер-Погосова. "Оговаривает!" -- мелькнуло у нее. Поискала, кто же, как она, боится, волнуется за Крейсlera. Веремиенко сгорбился, глядел в пол и весь выражал только предельное утомление. Тер-Погосов торжествовал.

-- Я должен заметить, что настаивал перед председателем на увольнении Крейсlera, которого считал инертным и малодетельным. Муханов удержал меня и товарища Величко, находя, что перемены ответственных работников на местах повредили бы ходу борьбы.

Дряблые складки лица Муханова выразили согласие. Величко шумно поднялся.

-- Подтверждаю.

Крейслер находился в таком состоянии, когда любой вопрос представляется необыкновенно запутанным, таящим подвох из-за какой-то мутности и засоренности слов, -- в каждое нужно вдумываться тем более, что вопрос этот вертели перед ним в разных видах в четвертый или пятый раз.

-- Я затруднен объяснить... меня не хотят понимать...

Грацианский жестко и насмешливо перебил:

-- "Затруднен объяснить..." Нечего объяснять. Вас давно поняли. Я не имею больше вопросов, -- с победным кивком закончил он и бросился к своим папкам.

Таня метала на мужа взгляды, которые самой ей казались вещественно ощутимыми, назначенными уколоть, обжечь, чтобы он обратил внимание на нее. Но он переминался с ноги на ногу, незрячий, смятый тревогой. Таня переводила глаза на Братцева, но тот молчал.

При допросе свидетеля Крейсlera непреложно установлено, что он не проявил достаточной энергии в защите незаконно отбираемых аппаратов-опрыскивателей, чем, -- он не мог не знать, -- наносится серьезный ущерб делу борьбы с саранчой.

С другой стороны, он знал о некоторых злоупотреблениях Муханова и Тер-Погосова, но и к этому отнесся халатно, то есть имеются налицо все признаки преступления, предусмотренного второй частью 108 статьи и второй частью 116 статьи Уголовного кодекса, по каковым статьям гражданин Крейслер должен быть привлечен к ответственности. На основании целого ряда новых статей прокурор предлагал взять Крейсlera под стражу.

-- Ибо мы ничем не гарантированы, что этот человек, тщательно скрывающий свое прошлое и по указаниям, которые он не мог опровергнуть, -- белый офицер...

-- Это же сплетня! -- громко раздалось в зале.

Крикнула Таня, вызвав мгновенный переполох и звонок председателя. Крейслер узнал ее голос. У него похолодели пальцы и сделались мокрыми подошвы. Ему захотелось, чтобы ее крик оглушил весь мир, как оглушил его. Но прокурор даже не оглянулся в публику. Председатель досадливо бросил колокольчик. И лишь парень из комендатуры ринулся в зал. Крейслер последил за ним. Но тот исключительно для порядка прогулялся по проходу между стульями и возвратился. Белин с обычной небрежной скукой возразил Крутову, Крутов возразил Белину, судьи ушли совещаться. И, старчески прикашливая, председатель возвестил, что гражданин Крейслер взят под стражу. Таня не уразумела, в чем дело. И только когда Михаил Михайлович шагнул в сторону подсудимых, она широко раскрыла глаза, напряглась всем телом, словно готовясь отразить удар. Мучительно ощутила ноги и руки чужими, хоть бы сломать. Михаил Михайлович в ослеплении сел на стул рядом с конвойным: ему очистили место в сторонке. Никто из новых соседей не проронил ни слова. Он

подавил неожиданный судорожный смех, шевельнувшийся где-то под ребрами. Смутная слабость накатила на него. Тускло-желтый ряд физиономий проплывал перед ним. И вдруг совсем близко, почти у самых глаз возникло лицо жены, пахнуло жаром ее дыхания. "Как она взволновалась, побледнела ужасно". И вновь усталости как не было. Таня видела, -- лицо мужа менялось: несколько мгновений искажалось мукой, затем просветлело, успокоилось, приняло благообразные черты, всегдашние, такие прекрасные по сравнению с тем, во что они слагались только что в страхе, в стыде.

Речи, которые теперь произносились на эстраде, звучали отдаленным гулом, потерявшим даже способность утомлять, надоедать. Несправедливость, которую совершили по отношению к ее мужу, сделала ее безучастной ко всему происходящему.

Объявили перерыв до шести часов вечера. Таня, не глядя перед собой, быстро пошла к выходу, надеясь увидеть Михаила Михайловича, если его повезут в тюрьму. Перед ней расступались, словно все догадывались о серьезности спешки. Она догнала у лестницы Марью Ивановну. Та сообщила, что увозят лишь вечером. Сейчас держат где-то за сценой, туда не пускают.

-- Да вы с защитником поговорили бы. Хоть с тем, которого для Онуфрия Ипатыча подыскали.

"Как, с Братцевым?" -- внутренне возмутилась Таня. Ее словно обдала дурным Запахом мысль, что придется выкладывать рябому слезливому адвокату всю сложность отношений с мужем, с Онуфрием Ипатычем. Он не поймет, упростит по-своему, будет ухмыляться с понимающим видом.

Она подвигалась вперед в слепой забывчивости неровными шагами, слушая советы Марьи Ивановны. И вдруг все -- широкая литая лестница, расписной плафон, запыленные окна -- резко двинулось, наотмашь. Сама успела уловить неловкий поворот. Правая нога, как нарочно, подломилась. Легкая боль кольнула щиколотку. "Ой, падаю!" -- прошептала весело и полетела, мягко перекатываясь на широких ступенях, уверенная, как это иногда бывает, что не разобьется. И впрямь не расшиблась, лежала на половичке. Набежало с десятков людей с криками, с вытянутыми лицами, а на них грудилась перепуганная толпа. Поднял молодой человек, дышал в лицо спиртным и все спрашивал: "Гражданка, не повредились?" Ступила правой ногой, вскрикнула, опять чуть не повалилась.

-- Доктора, ногу сломала! -- закричал спиртуозный молодой человек.

Марья Ивановна тащила франта из комендатуры, тот распорядился отнести упавшую в артистическую уборную.

-- В какую уборную? Не хочу.

Кругом засмеялись. Франт пояснил:

-- Да вы не беспокойтесь, -- в артистическую, говорю, без унитаза.

Загоготали. Подошел врач, в золотых очках, в чесучовом пиджаке, пощупал ногу прямо в чулке, больно сжал щиколотку.

-- Пустяки. Легкое растяжение сухожилий. Не ходить, полежать недельку.

-- Как недельку? -- капризно переспросила Таня, -- тон этот так и не изменял ей, как продолжение мыслей во время падения. Хотелось, чтобы услышали, поддержали хотя бы хохотом. Но лица зевак округлились, глаза потускли. Марья Ивановна схватила ее за талью, тащила к выходу, из приличия причитала:

-- Ах, какое происшествие. Едем домой, чего ж тут панику наводить, давку устраивать у входа. Не посмотрят, что жилы растянуты, попросят. Да вы не беспокойтесь, вон у моего старика часто вывихи бывают, прямо врожденно слабые суставы. Ах, незадача.

Детская обида не рассеивалась. Толстуха лицемерно причитала и нелицемерно грубиянила.

-- Если вам неохота со мной возиться, пожалуйста...

-- Уж там охота или нет -- дело пятое, а домой вас доставлю. Что случится, -- Михаил Михайлович голову с меня за вас снимет.

На серо-бледных щеках пострадавшей скользнул, как тень заката, румянец, и хотя пропал мгновенно, толстуха успела заметить его, как завесу на ходе к сердцу Тани. И всю дорогу в фаэтоне болтала только о

Михаиле Михайловиче.

-- Господи, он душой вам предан. Давеча с вас взора не сводил. От меня ведь не скроешься: все замечу.

Таня улыбнулась, еле слышно ворчала:

-- Уж вы скажете, -- все замечаете...

И нельзя было понять, верит ли она или не верит, ясно одно: хочет верить.

-- Как же это так, взяли его под стражу как преступника, а я тут лежать должна и помочь ничем не в силах. Милый, милый...

В слезах ткнулась в качавшееся рядом жирное плечо, пахнувшее потом и еще чем-то материнским, молоком, что ли. Фаэтон подрагивал, как зыбка; Марья Ивановна презрительно щурилась, поучала:

-- То-то, милый! А что делала с ним все время? Человек извелся, поседел. Только не каждому видать: рыжий, а я углядела. Он и на суде слов не вязал, ясно-понятно почему. Не в себе человек. Тут за мужчиною нужен уход, ласка, а ему все неприятности.

Она любила сечь ребят. И теперь ей казалось, -- розга взвивается над беспомощным ежащимся задком. Но секомый упорен, не раскаивается. И в голосе ее все чаще вплетался свист раздраженного дыхания.

-- Как же можно ради блажи взять и бросить мужа, трепаться за чужим дядей? Хоть бы любила. Нет, так: мораль.

Липкая слюна забила ей рот, она обильно плюнула. Таня сказала:

-- Вы правы, Марья Ивановна: блажь, упрямство, пустая погоня. А пришел час, я смирилась. Я смирилась! -- почти крикнула. Извозчик беспокойно заерзал на сиденье. -- Я ему напишу сегодня же. Но и вы пойдите к нему, вы сумеете, добьетесь, скажите, -- чего скрывается, -- я страдаю, мучусь за него, как никогда не страдала за того... Каждая его кровинка дорога мне. А я не могу прийти и быть с ним.

Все смешалось у нее на языке, как и в голове. Но самая эта путаница была яснее и желаннее, чем та сумасшедшая отчетливость решений, которая пригнала в этот город, бросила в одинокую бессмысленную возню с неестественными чувствами. Обессиленная голова прилипла к мягко колебавшемуся плечу, и Таня глухо твердила в пахучий ситец:

-- Это так страшно. В суде могут быть случайности, неблагоприятное стечение обстоятельств. Ведь случилось же... И засудят ни за что... Вот его взяли невинного, а мне кажется, он и мою вину своей мукой оправдал...

-- Так это прокурор набуробил. А конечно, все может быть, -- ввернула Марья Ивановна, хищно обнажая солнцу желтые зубы.

Таня не вникала, ладила свое:

-- Скажите ему, что я не покину его. Я ведь сама ума не приложу, как прожила эти несколько недель. У меня было два слоя мыслей, два этажа: поверху плавали разные заботы о себе, о службе, об Онуфрии Ипатьче, о передачах, деньгах, мало ли о чем... И все это так -- пена, пыль. Где-то под спудом, в самой глубокой темноте, как неизлечимая боль -- все о нем... ноет, не отпускает.

Марья Ивановна как бы заражалась бредом.

-- "Неизлечимая болезнь", -- верно сказали. "Не отпускает..." Верно, не отпускает. На своей шкуре это испытала, знаю.

-- Да, так и скажите, скажите...

II

Симочка завизжала, увидав, что Таню выводят из фаэтона под руки незнакомая женщина и извозчик. И сразу принялась ухаживать за ней, как за тяжело больной. В комнату вливалась Римма Ильинична, но не нашла ничего серьезного и удалилась. В белой благообразной комнатке с видимостью некоторого достатка

Марья Ивановна притихла, беседовала вежливо тоненьким голоском, как когда-то на заводе. Таню официальность огорчила, словно в ней и в ее муже Марья Ивановна могла принимать участие только воркотней и грубостями. Толстуха каждые пять минут устремлялась уходить. Таня не отпускала ее целый час. Марья Ивановна отбоярилась, ссылаясь, что опоздает на вечернее заседание, на которое назначили показания Эффендиева. Таня нацарапала записку:

"Прости меня за все, милый, единственный, муж, друг, весь мой мир. Я натворила глупостей, ошибок, только ничего унижающего ни наше прошлое, ни мою любовь не сделала, поверь мне. Сердце разрывалось за тебя сегодня, как ты страдаешь невинный. И все мне казалось, что я довела тебя своими дурацкими поступками до этого. И должно быть, от волнения упала с лестницы, растянула себе сухожилия на ноге. Ты не беспокойся, видел доктор, совершенные пустяки. Но не могу ходить несколько дней, не буду тебя видеть. Верю и знаю, все кончится к лучшему с тобою, глупая случайность. Сердце мое и вся душа с тобою. Прости".

Славка появился поздно вечером. Симочка грызлась весь день с матерью по случаю болезни жилицы, отказалась идти спать.

И теперь сидела почти в обнимку с женихом. Славка рассказывал про Эффендиева:

-- Вон нацбольшинство -- молодец, так и садит: "Крейслер все делал, что от него зависело. Я сам участвовал в его работе и несу ответственность за нее". Прокурор только губы кусает: раз человек объявляет себя ответственным участником в делах преступника, то его надо арестовать. А как арестовать, когда у Эффендиева Красное Знамя и маузер от Троцкого за военные заслуги. А наш ЦИК к Трудовому уже его представил.

-- Ах, какой верный человек оказался, -- повторяла она.

Михаил Михайлович прислал коротенький ответ:

"Получил твою записку, счастлив, сижу, как за ограждением от всех обид. Новые соседи сторонятся меня. Это дает уверенность, что я им не попутчик. Верю, что на днях все кончится. Мы наговоримся; прости и ты меня. Я, может быть, больше виноват перед тобою. Люблю, целую".

-- А Миша как? -- спрашивала она в двадцатый раз. -- Он в записке пишет, что совсем спокоен, -- правда ли?

-- Бойцовский вид, что надо. Я даже с ним перешепнуться успел. Он здорово сказал: "Как меня арестовали, так я словно маленьким стал или больным, на чужом попечении и ни о чем заботиться не надо..."

Славка не щадил красок, и краски густо ложились на ее щеки, Она в свою очередь сыпала всем набором приятного для молодых собеседников. Хвалила Симочкины глаза, фигуру и снова сбивалась на тревожные вопросы об участии Михаила Михайловича.

Нога опухла, лежала как бревно, приковала к кровати крепко. Врач сказал, чтобы больная не мечтала встать раньше, чем через пять-шесть дней. Но все огорчения проплывали мимо. Даже самая скука белой комнатенки, казалось, облегалась.

Со времени нашествия саранчи Таня с необыкновенной резкостью, с почти телесной убедительностью ощущала, что вовлечена в поток, в водоворот событий, слышала шум их приближения, как того поезда, который должен увезти куда-то, -- ее несло за ними. Ни одного движения не удавалось сделать свободно, по своей воле. Увлекали чужие поступки, посторонние обстоятельства вынуждали или сопротивляться, или покоряться, но следовать, не отставать. Стихии разыгрались вокруг. Она ослепла, слышала только их, обоняла запахи бури. Теперь же лежала выкинутая на берег, на твердую землю. Под ней -- еще сырой песок и слышен шелест волн, -- он может стать снова грозным, поднять на валы. Но сила и воля ее крепили на отдыхе.

Газеты неблагополучно пахли свежей печатью, шуршали раздражающе. Репортерские записки, безжизненное подражание действительности, передавали произнесенные признания, лживые увиливания с невыразительной полнотой и точностью.

Писал и Веремеенко. В записках чувствовался сухой испуг и вместе с тем безразличие к окружающему, он как будто даже и не замечал отсутствия Тани.

"Сегодня начались прения сторон, -- писал он, -- общественный обвинитель требует казни Тер-Погосова,

Муханова, Гуриевского, Бухбиндера и моей. Что ж, заслужили, знали, на что шли".

Он выводил это, казалось ей, мертвеющими пальцами. Как выдавил он это слово "моей". Она искала дрожи в завитках букв, -- нет, они, как обычно, ровно змеились по бумаге писарским почерком.

Другой клочок бумаги доставил тоже горькое чувство. Его принесла вечером Симочка, извиняясь, что не могла передать днем.

"Береги себя, помни, что ты беременна", -- писал Михаил Михайлович. Это ни тоном, ни содержанием не подходило к тому, что переживала Таня. Она боялась чисто мужского самолюбия, -- его же в Крейслере наблюдалось предостаточно, -- от него и бежала за Онуфрием Ипатычем. Этой заботой о беременности он как бы утверждал право собственности на жену... Ночь не удалось заснуть. Горечи и сил, накопленных в бездействии, некуда было девать. Утром постигло странное опьянение, похожее на полет во сне. Она валялась уже четвертый день.

Славка забежал бледный. Янтарные глаза дрожали. Сообщил о речи прокурора.

-- Засыпался с Крейслером. Требовал только общественного порицания.

-- А Онуфрию Ипатычу?

Имя едва сползло, как кусок ваты, налипший на язык. Славка замялся, отвернулся, она беззвучно шевельнула губами: "Расстрел?" Кивнул чуть заметно. Сердце бросилось ей к горлу, готовое задушить.

-- Неужели нет надежды?

Славка не отвечал.

Два дня тянулись речи адвокатов. Таня вызвала Марию Ивановну. Та пришла. Едва она раскрыла дверь, Таня набрала воздуха крикнуть: "Что с вами?" На пороге стояла старуха с дряблым желтым лицом, напоминавшим старческую женскую грудь. Ничего не рассказывала, не бранилась, сама попросила чаю и выпила только чашку. Прощаясь, сказала:

-- Видно, не сносить нашему Онуфрию Ипатычу головы.

Помялась, тяжело дыша, ушла, не подобрав волос под платок.

Таня заметила вошедшей Симочке:

-- Хорошо бы, для этой женщины хорошо было бы, если бы сейчас на улице била бы жестокая вьюга, снег, залепляло бы глаза, сносило... Чтобы идти, бороться с погодой и не думать...

Девушка посмотрела на ее пепельное лицо.

-- И вам, видно, не легче.

-- Я что ж... Я завтра встану. Завтра кончатся реплики сторон... Им остается жить несколько часов. Такое поперек всякому счастью встанет...

Симочка, выйдя в коридор, вздохнула легко, полной грудью, словно вырвалась из больничной палаты.

### III

Таня поехала в суд. И как в самом начале, перед зданием клуба скопилась громадная толпа, извозчик ссадил ее у поворота на улицу Коммуны.

-- Дальше милиция не пускает, барышня, сами уж как-нибудь доберетесь. Видишь, народ кровь почуял, стекся любопытствовать.

Таня побрела, опираясь на палку. У нее, должно быть, был отмеченный мукой особенный вид в скопище зевак. Кто-то заметил вслед, что это жена главного преступника. Самый воздух клуба отличался от городского. В нем носился тот же зловещий запах аптеки, как в ветре норда. В коридорах было странно просторно, очевидно, строже следили за пропусками.

Подняла портьеру. Вместе с духотой зала ударило металлическим окриком:

-- Именно для Вермиенко я требую высшей меры наказания.

Память пресеклась, как дыхание. Через несколько мгновений она обрела себя прислонившейся к стене. Слабый старческий голос проникал в уши:

-- Суд удаляется на совещание.

День потек невероятно медленно, тяжелый, как ртуть. Родственники почти свободно переговаривались с подсудимыми. Таня жалась в темные закоулки зала. Встретив Славку, пробиравшегося со своими проводами, попросила:

-- Передайте, если сумеете, Мише, что я здесь. Но не могу показаться близко к Онуфрию Ипатычу. Понятно почему...

Забивалась за колонны, таилась, сама от себя скрывалась, пряталась от своих мыслей в этих поисках уединения. Взгляд Онуфрия Ипатыча, казалось, нащупывал ее. Раза два взглянула в ту страшную сторону. Подсудимые застыли неподвижно, словно притянутые к стульям невидимыми постройками, изредка отвлекались от оцепенения, отвечая нехотя. Эта каменность давила даже обычный шум толпы. Муханов горбился сломленный, сжимая голову руками. Тер-Погосов не сводил глаз с хрустальной люстры. Гуриевский устремлял одинокое око туда же, словно верил, что Тер-Погосов знает, как облегчить мучительное ожидание. Вся тайна в том, чтобы подражать его движениям.

Вермиенко время от времени с непонятной в живом существе медлительностью оглядывал зал (тогда Таня прижималась к своей колонне) и снова вытягивался. Сидевший сзади всех Бухбиндер непрерывно покачивался из стороны в сторону, как будто затверживал про себя древнюю молитву. Слова, произнесенные о них, требование смерти отделили их от прочих людей, нанеся внешним знаком серую бесцветность на кожу лица. Остальные подсудимые, -- ражий Петряков, Муханова, капитан, пан Вильский, Величко, -- отделенные от пятерых той же чертой, неуловимой и естественной, переговаривались вялыми отрывочными фразами.

Публика, подчиняясь срокам еды, редела и вновь густо наполняла зал. Шарканье, кашель от скуки, придушенное жужжание разговоров давно отзывались в Тане нервным зудом. Окна начинали синеть. В сумерках она выскользнула к последним рядам, заняла единственный свободный стул. Рядом дремала та любознательная старуха, которая ходила во все суды прежде и теперь. Надвинув на брови кремовую косынку, она даже похрапывала, изредка вскидываясь, ожидая одобряемых ею строгостей. Зажглись кронштейны. Их желтый свет смешался с пыльной синью вечера и словно высветил в Тане ее собственные ощущения: нестерпимо заныли виски.

Грохотали сотни ног, стулья, двери. Висела пыль. Спертый воздух портился с каждым вздохом каждого из этих людей. Шумели вентиляторы, но их упорное скрежетание не приносило облегчения легким. Таня ненавидела соседей, от которых тянуло влажной жарой, потом. В полусне воображала, -- ее ловят, покуда удастся скрываться, но каждую минуту могут настигнуть. В особенности когда вспыхивают огни люстр.

Опять с эстрады раздался крик:

-- Суд идет!

Все встали. Таня очутилась в окружении высоких и широких спин и, напрягшись, едва улавливала пробивавшийся сквозь шелест людского множества, сквозь все эти дыхания, шевеления, вздрагивания, старчески слабый голос читавшего приговор председателя.

-- Господи, ничего не слышу, -- ворчала рядом старуха. -- Чего это он читает?

Бородатый рабочий, массивными плечами загородивший от Тани весь зал, повернулся и сверкнул на старушонку маленькими гневными глазками. Председатель заканчивал чтение мотивировки. Голос его меркнул, прерывался. "Крейслера, -- услышала Таня, перестав дышать, -- считать оправданным..." И снова ли голос старика окреп, -- зал ли слушал, не дыша, -- но стало слышнее.

Был оправдан капитан. Вильского осудили условно на год. Муханову -- тоже (за попытку бежать за границу). Величко дали два года, с запрещением по отбытии наказания занимать ответственные должности три года. Петрякову -- пять лет со строгой изоляцией. Гуриевский и Бухбиндер получили по десяти лет.

Читавший назвал Муханова, Анатолия Борисовича. Последовал длинный перечень статей. Высокий женский вопль огласил зал. В мертвенной тишине прозвучали имена Веремеенко и Тер-Погосова. Через миг, в странной поспешности, в испуге, публика ринулась к проходу, к дверям. Старуха теребила Таню за рукав, как будто только что проснулась, сердито спрашивала:

-- Куда это бегут, как оглашенные? Еще кого судить будут?

-- Уйдите! -- и Таня зашлась воплем, рухнула на стул. Бородач-рабочий протянул через стулья руку, взял старуху за плечо, проворчал:

-- Катись, бабка. Троих съела, -- все мало.

И двинулся. Старуха покорно заковыляла за ним.

Дикий раздирающий крик огласил спертый воздух и как бы еще более сгустил его. Едва начавшись, он показался бесконечным. В нем не было оттенков, он не изменялся. Публика оторопело сбилась в проходах. Таня телом почувствовала ужас, заключенный в этом вопле. Перед ней открылось смятение на эстраде. Муханов кричал, медленно озираясь кругом. Его высокий голос, неузнаваемо искаженный напряжением, потерял все признаки человеческого. Осужденных торопливо выводили. К Муханову подошел конвойный. Смертник, ощутив его прикосновение к плечу, рванулся и отбежал к задней стене в угол. Он вытянул руки вперед, он царапал блестящую штукатурку. Мощное дыхание, питавшее вопль, не прерывалось. Его схватили под руки и не могли сдвинуть с места, словно он прилип к стене, хотел проникнуть в камни. Его подняли на руки, понесли.

Не в силах видеть все это, Таня закрыла глаза. Уши раздирал непрекращающийся, не гложущий и за стенами вопль:

-- Я же не виноват! Вы же видите!

Этому ужасу не было препятствий. Если бы Таня слышала только эхо этого крика, то и его достало бы воображению дорисовать белое лицо, с которого судорога свела все, что роднило его с живым, бьющиеся длинные ноги, вскинутые руки. Схожесть всех звуков, пения, плача, просто громкой беседы, словом, всех звуков, которые предстояло услышать после, во всю жизнь, с этим страшным воем лишила бы их красоты, напоминая о нем.

-- Таня! -- раздалось над ней.

Бесконечно знакомое ласковое восклицание вызволило ее. Она вырвалась, охваченная его теплотой, из страшного озноба, судорог. Она протянула руки в теплую беззвучную тишину, открыла глаза, свет поразил их, как зрелище божественной игры, прошептала:

-- Да, да, возьми меня. Скорее.

#### IV

Андрей Ильич сообщил, что республиканский ЦИК из троих приговоренных к расстрелу помиловал одного Веремеенко, и прибавил, что постановление будет опубликовано на следующий день. Но оно не появилось. Таня промучилась еще четверо суток. Она не могла есть: хлеб казался вымоченным в чем-то липком. Она потеряла меру дыхания, все время мнилось, что грудная клетка расширяется недостаточно. Она вздрагивала от малейшего шума, словно ее звали. Даже явственно слыхала свое имя.

Наконец однажды рано утром Михаил Михайлович принес газету и прочитал о помиловании.

-- Защитники Муханова и Тер-Погосова направили ходатайства в Москву. Но едва ли...

Таня плакала и дышала полной грудью.

-- Онуфрий Ипатыч, -- повторяла она, -- бедный. Десять лет.

Она легко поддавалась утешениям, что бывают же амнистии, досрочные освобождения, что сколько народу так освобождают. Успокоив жену, Михаил Михайлович сказал:

-- Хочешь поехать со мной? Завтра я еду на завод сдавать дела.

-- Как сдавать дела? Разве мы не вернемся в Степь?

-- Нет, нет. Не поедет. Мне предложили работать в Отделе защиты растений. Правда, больше по административной части, чем по научной, но я завоюю и лабораторию. Ведь завоюю, да? -- Он усмехался, морщил лоб, обнимал жену. -- Мы еще повоюем! Она основана...

Осекся, жена не расслышала, не потребовала окончания фразы. Краска удовлетворения играла на его загорелых веснушчатых щеках. Он отвернулся, устыдившись своего торжества.

Таня, оставшись одна в городе, принялась искать жилище: две комнаты. Странное ощущение испытывала она, бегая по тем же улицам, по которым ходила до процесса. Строения, мостовые, вывески, витрины, все существо города с его шумами, запахами, мерещились ей порождениями бреда, не имеющими влияния на действительную жизнь, состоящую из забот об Онуфрии Ипатыче и негодования на мужа. Теперь дома и тротуары получали воплощение. Они взяли власть над помыслами. Существование наполнялось реальностью. Она узнала, что в городе очень тесно, "как в Москве", достать комнату почти невозможно, что растет нефтедобыча и жители полны надежд. Появилось словцо нэп, привилось, как обретенное из родников народного словотворчества.

Вернулся Михаил Михайлович, привез вещи. Таня рассказала о безуспешных поисках. Он примирился с первого слова:

-- Придется остаться у Блажко. Не век же Симочка будет тянуть волынку со Славкой, а они здесь не останутся, у него чудная комната.

Позвали Симочку, сообщили решение. Оказалось, и в спальне пришли к необходимости просить Крейслеров остаться: боялись уплотнения.

Михаил Михайлович бросился распаковывать вещи, "бебехи", как он называл. Остановился перед избитым чемоданом и, согнувшись, стал тайком рыться в бумажнике.

-- Видала, жена?

И он подал на ладони изумрудные серьги -- талисман. Симочка покраснела, повисла на шее у Тани, когда та спросила:

-- Это вы все сделали?

Крейслер радовался и острил об этих серьгах трое суток.

Через две недели Таня добилась свидания с Онуфрием Ипатычем в исправдоме.

Был сентябрь, и навернул холодный, сырой, с печальными ароматами северного ненастья, ветер. Маленький трамвайный вагон, дребезжа и скрежеща, полчаса брал петлистый подъем. Давно миновали шумные вонючие улочки с черномазыми ребятами, роющимися в пыли. Путь шел пустырями, каменистыми обрывами, где гудел ветер, серый, как море внизу. Тюремный замок вырос неожиданно из-за поворота. Крепостные русские стены, шатровые башни, бессмысленные в местной суши, бойницы, -- унылое воплощение империалистских фантазий, которыми грезили губернские завоеватели, -- все это как будто наворотило бурей откуда-то с севера. За тюрьмой раскинулся железнодорожный поселок, -- и домики казенной стройки тоже не походили на сакли туземных предместий. На площади, на самом юру в столбах пыли расположился базар, торговали русские бабы дынными семечками, сушеными фруктами, барахлом. Покупателей было мало, меньше, чем палаток с холщовыми крышами, которые трепались, как подолы. На одной палатке трепетала вывеска:

"Сдезь все дли передач".

Таня вспомнила, купила мыла, положила в сверток. У самых ворот ее нагнал долговязый белокурый мальчуган, забытый, как сновидение.

-- Татьяна Александровна!

-- Сташек! Ты откуда?

-- С базара. Насилу улизнул. Мама увидала вас после меня, я показал, хотел было крикнуть, да она запретила.

-- Почему запретила? Что вы здесь делаете с мамой?

-- Вы не знаете, она разошлась с папой? Из-за Онуфрия Ипатыча, -- пояснил он и густо порозовел пятнами. -- Какая буча была. Папа уезжает в Польшу, а мама и я торгуем здесь. Надо же кормиться. Мы теперь живем у дяди, маминого брата, на железной дороге. Он -- машинист.

-- Так она запретила окликнуть меня, -- задумчиво проговорила Таня.

-- Ну, прощайте, -- резко прервал мальчик. -- Увидит, поколотит, у нас недолго. Она вас змеей зовет. "Вон опять поползла", -- сказала.

Неверная злая улыбка сверкнула на вытянутом худеньком личике. Он, верно, искал ключа к тому, что происходило с семьей. Но, кроме новых слов, ничего не узнавал и за звуками не видел содержания. И если понял, что значит, что папа и мама разошлись, то понял, как начало бедности и безраздельного главенства бабьей скуки в их существовании. Но что надо подразумевать под обозначением "Онуфрий Ипатыч", он не представлял. Лицезрение Татьяны Александровны, которая в речах взрослых часто выступала в связи с Онуфрием Ипатычем, ничего не объяснило. Он убежал, не оглядываясь.

Таня снова прошла длинную очередь, комендатуру, разговоры в ожидании пропуска. Ее с целой партией других посетителей впустили в длинную сводчатую комнату, перегороженную вдоль деревянной решеткой. Горела неизменная неугасимая электрическая лампочка без абажура, жалкая и ненужная, гудели заглушённые голоса.

-- Вот я! Сюда, пожалуйста.

Она искала его глазами и не находила. И вздрогнула, увидав остриженного под машинку, сгорбленного коротыша, в гимнастерке, слишком для него объемистой. Он улыбался сквозь слезы.

-- Пришли, как хорошо! -- повторял он почти шепотом, как говорили, впрочем, и соседи. -- Хорошо, что пришли.

Не выпускал ее пальцев из холодной влажной руки. Таня леденела от прикосновения из-за деревянной изгороди, словно сообщавшего ее с казематной сыростью. Молчала, -- что спросить? Как поживает? Да, он не поживает! Но Онуфрий Ипатыч и не ждал, верно, слов, любовался жадно, радуясь, что может внести поправки -- краешек ноздри, цвет бровей, уголок рта, -- в тот образ, который иногда, как милость, дарила умственному взору память.

-- Как вы похорошили, посвежели. Не стыдно вам? -- спрашивал он.

Должно быть, ему казались признаками посвежения пятна беременности под глазами. Речь наконец вернулась к ней.

-- Я вам кое-что передала там...

Он не изумился нелепому вступлению в разговор, сухому и безразличному после всего, что они совместно пережили. Ее голос, как и температуру кожи, считал он избыточным даром к тому, что дарила судьба: воочию видеть ее, -- новым неоспоримым подтверждением счастья.

-- Да, да, очень вам благодарен. Вы ведь добрые. Я как вспомню, как вы обо мне заботились, как изводились во время суда, так мне и становится смешно, что я сейчас иногда мучусь Или скучно мне станет, вспомню, что вы недалеко, в пом же городе...

Остальные пятнадцать минут он больше вздыхал. Темные клубы каких-то так и не нашедших пути к выражению мыслей подымались в них. Порываясь что-нибудь сказать, Таня сталкивалась с чем-то значительным, что неясно бродило в душе и сковывало язык. Она, разумеется, могла бы назвать эти властные позывы к молчанию угрызениями совести, жалостью, стыдом за свое благополучие, мало ли какие наименования нашла бы в беседе с другими по этому поводу. Но тут она только безмолвствовала. Однако, когда надзиратель подошел к ним и прервал свидание, оба они удивились, что произнесла такое множество слов, никак, в сущности, не поговорили. И Онуфрий Ипатыч заспешил, снова благодаря и восхищаясь добротой, схватился спрашивать, как устроились, и напоминал передать привет Михаилу Михайловичу, и опять заметил, что она пополнела и похорошела. На этом его почти оторвали от решетки.

Таня вышла в жидкую синеву непогожего вечера, дивясь, что может существовать такая свежесть. Гудел ветер, гремел вдаль город, уже обозначившийся огнями, выступавшими как первые звезды. И бескрайне, торжествуя над всеми звуками земли, шумело мутно-серое пространство, слитое с небом, -- море.

Михаил Михайлович целыми днями не приходил со службы. Запущенное хозяйство ОЗРА поправлялось с трудом. Он принял от Саранчовой организации энтомологический кабинет и вечерами приводил его в порядок. Теперь, имея микроскоп, он усиленно работал над своим материалом и собирался писать исследование о паразитах азиатской саранчи в постоянных гнездилищах Закавказья. Таня не доверяла поспешности и упорству, с коими муж ушел в занятия, иногда приходила в голову мысль, что, напуганный тревогами жизни, он скрывается в кабинете. Она не понимала науки.

Таня прошла звонким двориком, который едва освещался светом из окон флигеля, любовно обрызгивающим листву белых акаций. За кокетливыми зелеными занавесками в окнах виднелись белые стены, и потолки налитых сиянием комнат. Своеобразная драгоценная тишина охватила вошедшую еще в передней с пустыми вешалками. Воздух был напоен тонким разложением препаратов и испарениями масел и спиртов. Ящики и корзины, тщательно упакованные, стояли по стенам. Таня проследовала две или три комнаты, строгие, как музей, с вертушками фотографий, гербарными ящиками, образцами поврежденных растений. Мужа она нашла в последней комнате, похожей на врачебный кабинет. Горьким дымом табака густо ударял застоявшийся воздух, словно несколько поколений курильщиков старалось здесь. Михаил Михайлович углубился в микроскоп. И удовольствие видеть жену медленно размягчило его сосредоточенные черты, как будто не сразу нашло ход к коже и мускулам лица. Он взглянул на нее рассеянными и утомленными глазами, спросил кратко:

-- Была?

На сухой вопрос она ответила пылким описанием встречи:

-- Была. Милый и жалкий. Я как то очень остро поняла, что он безволен, как ребенок. Не живет, а грезит, И раз десять повторил, что я похорошела и пополнела. И не заметил...

-- Пузик? -- перебил муж. -- Да, славная наблюдательность.

Самодовольство мерещилось ей и там, где, возможно, оно и не ночевало. И всегда позывало съехиться от проявления мужской гордости.

-- Он не безгрешен: у него чувства не ребенка, а взрослого человека, их отпущено больше, чем нужно человеку такой воли и ума... Я кончил работу, мы можем идти домой.

Спокойными широкими движениями он снимал белый халат, прятал микроскоп в футляр, сложил аккуратно бумаги, достал ключи, которые надо было передать сторожу. Она сравнивала обилие и целесообразность уверенных жестов с той смятенной неподвижностью Онуфрия Ипатыча, за которой прозревала душевные ураганы. Часто внутренне противясь самоуверенной силе мужа, она с первой встречи с ним не нашла того телесного противоречия, которое единственно родит антипатию к мужчине.

Супруги вышли. Холодный мертвый лист, начало осени, -- упал ей на лицо, скользнул, как капля.

Путь лежал по набережной. Они присели на бульварной скамейке. Справа и слева по берегу бухты мерцал ровный ряд фонарей. Мгла как бы затвердила их и выносила куда-то вдаль, за выход в открытое море, где нельзя определить, насколько они удалены от глаз, -- может быть, вырвавшись за пределы атмосферы, они назывались звездами. Непроглядные массивы гор намечались беспорядочной россыпью ярких точек, окон жилищ. С моря шел свежий ветер, глухой гул, словно там, во тьме, что-то непрерывно рушилось.

-- Как это напоминает тот вечер, когда мы вернулись в Россию. Немногим больше года прошло, а каким я теленком был тогда, теперь только вижу. Сурово, сурово...

Он вздохнул, прислушиваясь к хриплым трубам прибоа.

-- Мы выплыли. А пожалуй, для Онуфрия Ипатыча было бы лучше, если бы он не выплыл с шарфом Мухановой.

-- Нет, нет, что ты. Он все-таки бодрее, чем мне казалось до нынешней встречи. С ним только немного трудно говорить... Но ведь эта тяжесть всегда была... А для меня она в особенности заметна...

Она взяла мужа за локоть, прижалась. Волна нежности нахлынула на нее, хотелось защитить его мужественные замыслы от мелких тревог. Недавних огорчений по поводу самодовольства и мужского чванства как не было. Он размышлял вслух:

-- Жизнь, должно быть, завоевывается страданием и трудом. Я думаю это, когда хожу по лаборатории, которая перешла к нам от Саранчовской организации. Эту лабораторию создал покойный Муханов и хорошо, любовно обставлял, говорят, даже тратил на нее свои средства. В нем все-таки жил ученый. Я тебе не рассказывал об этом, всячески даже скрывал. (Она теснее прижалась к нему.) Да и сам толком не осмыслил. Мне как-то странно и жутко было принимать дело из его мертвых рук. Из каждой мелочи я убеждался, что тут он был щепетильно честен и вообще старался не прикасаться к хозяйству. Сегодня незадолго до тебя заходил Эффендиев. Я ему посетовал, зачем он меня сюда устроил. "Брось, -- сказал он, -- все о мертвецах думаешь. А у тебя жена беременна".

Вечный припев. Она улыбалась в темноту преданно и любовно. Пусть приходится иногда досадовать на него. В этой борьбе сердца, в этой смене чувств, игре настроений, при условии, что все удерживается в каком-то равновесии, и заключается та душевная жизнь, та обитаемость сердца, которую она искала и не нашла, уйдя за Онуфрием Ипатычем.

-- Откуда Эффендиев узнал? -- Таня рассмеялась. -- Мне все кажется, что наша вестовщица Марья Ивановна выболтала. Да ей не до нас...

Она рассказала о встрече со Сташеком. Михаил Михайлович слушал рассказ, как беседу вагонных соседей о ком-то отсутствующем. Таня очень тонко закончила рассказ, как будто догадавшись о настроении мужа:

-- Я чувствую время. Я ощущаю, как зреет во мне другая жизнь, существование в будущей половине века... И глохну к окружающему. И это счастье, я не слышу и воспоминаний, как будто все, что случилось несколько недель тому назад, так далеко, далеко...

1925-1927 гг.

---

Источник текста: Сергей Буданцев. Саранча. - М: Издательство "Пресса", 1992.